

# **ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ТОМ ВТОРОЙ**



**ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ**

Перевод с польского



**МОСКВА  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1977**

## БЕРЕЗНИК

### I

Уже в самой манере, с какой Стась выбрался из про-летки у крыльца, что-то покоробило Болеслава. Он выско-чил, вернее, выпорхнул из желтого экипажа. Прежде все-го Болеслав заприметил его сапфировые носки. В сочета-нии с коротенькими и мешковатыми брюками цвет этот казался особенно кричащим. Он подчеркивал невероят-ную худобу щиколоток. Хотя в остальном Стась выглядел вполне сносно. Переведя взгляд с этих сапфировых носков вверх, Болеслав увидел голубые глаза брата. Они были удивительно веселые. Стась улыбался ими, вокруг рта от улыбки образовалось множество морщинок, кото-рые лучиками сбегались в одну точку. Братья расцелова-лись, и первой благожелательной мыслью Болеслава бы-ло: «Слава богу, совершенно здоров».

Братья не виделись очень давно. Стась два года про-торчал в своем санатории, но и прежде они не встречали-сь несколько лет. Болеслав с давних пор обретался в этом лесничестве, а Стась сюда не заглядывал. Возможно, он и не узнал бы сейчас брата.

— Как поживаешь? — спросил Болеслав после того, как они молча обнялись.

— Превосходно!

— Хорошо, что вспомнил обо мне.

— Что мне еще оставалось. Доктора настаивали, что-бы непременно ехал в лес. Так куда же, как не сюда?

Стась говорил все это отрывисто, не переставая су-титься. Сбежал по четырем ступенькам к экипажу, извлек оттуда довольно легкий чемодан, поставил его на веранде,

снял элегантный непромокаемый плащ, перчатки, потом дорожное кепи, точно такое же, какие Болеслав видел на рекламных картинах иллюстрированных журналов. Они сразу же сели за завтрак, поданный на веранде.

— Я безумно устал,— продолжал Стась.— Два дня и две ночи.

Маленькая Оля пришла из глубины дома. Глаза у нее были голубые, несколько испуганные. В руках она держала куклу, сильно облезлую. Девочка молча присела перед дядюшкой.

— Господи! Какая огромная! — воскликнул Стась. Болеслав хранил молчание.— Но кукла у нее ужасная! Я видел таких очаровательных кукол за границей. Забыл ей привезти. Действительно, бесчувственный из меня дядюшка!

Оля спустилась с крыльца и преспокойно отправилась в лес. Лес начинался тут же за дорогой, отделявшей его от дома лесничего. День был отвратительный, без устали моросило. Бор с этой стороны был лишен подлеска, и Стась, оживленно рассказывая о своем путешествии, видел, как светлое платьице Оли мелькает среди стволов.

— Ты пускаешь ее без присмотра? — спросил он старшего брата. Тот пожал плечами.

— Так вот, понимаешь ли, едва спустился в долину... — продолжал Стась,— почувствовал безумную усталость. А в этой пашей Польше и говорить нечего. Я думал, дороге не будет конца, все леса да леса, бог знает, откуда их здесь столько взялось.

— Да, только не очень-то красивые. Сосняк.

— Не беда. Я обожаю сосновый лес. Врачи мне все уши прожужжали — в сосновый лес, непременно в сосновый лес.

— Тут за домом очень красивый березняк! — Болеслав, не оборачиваясь, показал рукой.

День был пасмурный, из лесу долетал легкий шелест трущихся друг о друга сосновых веток.

— Знаешь, битых два часа слушать только шелест хвои да скрип песка под колесами — это чертовски однобразно,— не унимался Станислав, сохраняя все то же хорошее расположение духа.— Меня слегка утомляет монотонность здешней округи. Как ты себя чувствуешь?

Болеслав снова пожал плечами. С губ его сорвался какой-то неопределенный звук.

— Но для этой малютки ты должен подыскать какую-нибудь няньку.

— Я думал...

— Одного «думала» недостаточно...

Стась далеко отставил стул и взялся за ручку чемодана.

— Где я буду жить?

— Из сеней налево.

Болеслав чуть подвинулся вместе со стулом, так, что теперь видел дорогу. Небо между обрезом крыши и макушками леса внезапно потемнело, и дождь зачалил. Было слышно, как Стась хозяйничает в своей комнате. Открытое окно находилось рядом с верандой. Болеслав теребил темную бороду. Он слышал, как брат распаковывался. Вынимал вещи из чемодана, мылся с дороги. И все напевал. Он без умолку напевал модные европейские песенки, иным ветром повеяло от их мелодий. Болеслав нахмурил брови и прикусил кончик бороды, запихнув его пальцем в рот.

Стась открыл дверь из своей комнаты в соседнюю. Болеслав слышал, как он зашлепал в мягких туфлях дальше, отворил дверь в сени, вероятно, заглянул на кухню. Потом Стась вернулся на веранду с противоположной стороны дома — через его комнату и Олину. Четыре комнаты — вот и все хозяйство.

— Я осмотрел весь дом,— сказал Стась, останавливаясь на пороге.— Забыл, что у тебя нет рояля. А мне казалось, что есть, и я искал его повсюду. Без рояля тут будет страшная скука. Нельзя ли взять напрокат в Славске?

Болеслав ничего не ответил.

— Мы с Олей околеем здесь от скуки.

Даже последнее слово не вывело Болеслава из оцепенения. Он думал только: «Господи, господи, зачем он сюда приехал?»

Между тем Стась налил в стакан горячей воды из чайника, который стоял на столе. Пошел бриться. Немного погода в окне появилось его густо намыленное лицо.

— А ты ездишь верхом?

— Нет, но седло у меня есть.

— А лошадь?

— Та, что справа,— проворчал Болеслав.

— Под седло годится?

— Гм, Янек говорит, вполне подходящая.

— Вот и прекрасно. Я буду ездить верхом.— Стапислав исчез.

Вскоре до Болеслава опять донесся вопрос:

- А до Славска далеко?
- Ты ведь оттуда приехал.
- Но сколько миль?
- Две или две с половиной...
- Можно ли будет привезти рояль?
- Сам видел, какая дорога...
- Действительно, а когда подсохнет?
- Тогда в песке увязнешь.
- А лошадей ты мне дашь?
- Оставь меня в покое с этим роялем!

Болеслав рассердился. Встал и вышел на кухню.

Бреясь, Стапислав не переставал напевать. Он видел, как через дорогу крадется вымокшая Оля. Однако шагу она не прибавила. Неторопливо переступала через колеи, прикрывая куклу платком. У Станислава от этого зрелища защемило сердце.

— Ого! — сказал он самому себе.— Здесь будет тяжеловато.

Старая служанка Катахина убирала со стола на венце. Оля уселась в уголку на скамеечке и о чем-то заговорила с куклой.

Стах разглядывал безделушки, они напоминали ему о пребывании за границей. Разместил их на ветхом и безобразном туалетном столике, стоявшем в углу. Рассматривал фотографии: он, мисс Симонс и Дюпарк на снегу в Давосе. Улыбающиеся лица. Тамошние вешицы благоухали иначе. А здесь пахло простой сосновой мебелью и свежевымытыми полами. Когда Стась вышел на крыльце, уже распогодилось.

— Оля, пошли на прогулку. Покажешь, где березняк.

Оля встала и, не проронив слова, взяла его за руку. Ручонка у нее была худенькая, холодная. Они медленно спустились по лестнице. С крыши падали тяжелые капли.

— Если дождь с утра, то потом ведро,— степенно проговорила малышка.

Они обошли дом. И действительно, с той стороны был прелестный березняк. Стволы тянулись вверх белыми, хрупкими колоннами, словно из сахара или снега. Сверху струилась потоком мелкая листва, но впереди ничего не было видно, кроме белоснежных колоннад.

— Красиво здесь,— сказал Стах без улыбки.

Оля промолчала. Они шли по сырой траве, потом проторенной тропкой. Белые стволы сливались в туманной дали, между деревьями заклубился пар. Вторая половина дня обещала быть солнечной.

— Это всего лишь майский дождичек,— Оля неторопливо развивала свою мысль.

Они остановились возле могильного холмика, желтый песок уже потемнел, но не порос травой. Могила была обнесена белой березовой оградой весьма немудреной конструкции; попросту воткнули крест-накрест колышки. Огромный березовый крест высился над могилой, такой же белый, как стволы окружающих деревьев. Стах удивился.

— Что это?

— Могилка,— ответила Оля.

— Чья?

— Как чья? Мамина.

— Значит, мама здесь похоронена? Почему не на кладбище?

— Больно далеко,— ответила Оля,— а тут рядышком.

— Конечно, рядышком, а разве нельзя было на кладбище?

— Распутица была страшная. Ксендз-викарий верхом приехал.

— Это случилось весной?

— Верхом, исповедовал маму и у нас остался. Два дня просидел, не мог с места двинуться, вода разлилась повсюду.

— Землю-то освятил?

— Освятил. Сказал, что в неосвященной земле не положено. Уговаривал везти в Славск.

— А папа что?

— Папа не хотел. Сказал: можно в березняке. Здесь место красивое.

— Красивое.

— Здесь очень красиво, но я не люблю сюда ходить.

— Не любишь?

— Не люблю. Я хожу только с папой. Папа молится.

— Папа...

— Папа каждый день ходит с утра или к вечеру, а по воскресеньям молится здесь вместе со мной. Читает по книжке, что была у мамочки.

— А ты помнишь маму?

- Еще бы, только год прошел.
- Верно. Уже год. А я узнал только осенью. Твой папа редко пишет.
- Папа не любит писем.
- Я писал чаще.
- Но папе не нравились ваши письма.
- Читал он их тебе когда-нибудь?
- Нет... читал однажды только, как вы на саночках катались. У меня тоже есть санки, но здесь нет ни одной горы. А в Швейцарии большие горы?
- Огромные. Я покажу тебе фотографии.
- Тогда пойдемте домой, дядя. Покажите мне фотографии.

Стасх принялся демонстрировать снимки, но девочка вскоре заскучала, ведь она не очень-то понимала, что такое «отель», «санаторий», «Швейцария». Стась сидел на kleenчатом диванчике, стоявшем в его комнате, и фотографии сползли с его колен. Он бездумно смотрел в окно, где между стволами сосен уже поблескивали солнечные лучи. Хвоя, устилавшая землю, сильно курилась; прогалины между деревьями заполнились туманом и испарениями. Впрочем, Стась не наблюдал явлений природы, не думал даже о том, что творится в нем самом. Весь предавался покою и жаждал бездумности. Немного погодя повторил:

— Ох, тяжеловато здесь будет.

Он еще не разобрался в обстановке, но уже знал, что ничего отрадного не предвидится. Состояние брата пугало, и Стась пытался его постигнуть, но поскольку ни одной утраты не пережил по-настоящему, давалось это нелегко. Он даже присутствовал при кончине матери, но сам факт смерти казался ему нереальным. Потом не мог этого ни понять, ни почувствовать, словно мать всегда в соседней комнате. А еще позже привык к тому, что она больше не входила в его комнату. Между тем от песчаного холмика в березняке невозможно было отделаться. Он так и стоял перед глазами в сетке белых стволов, которые сливались вдали, образуя белое размытое пятно, словно нарисованное легкими прикосновениями кисти.

Тем временем Болеслав сидел по другую сторону сени, на кровати, и обозревал примерно такой же пейзаж, мглу между стволами сосен и первые блики, заигравшие на мокрых листьях кустарника, которые лишь эти солнечные лучи обнаруживали в сухом кружеве подлеска,

Только мысли его были еще менее определены, чем мысли младшего брата. Из тумана, который окутывал Болеслава со смерти жены, ничто не могло его выманить, все он видел сквозь пелену. Это очень мешало глазам, но не более того. На могилу хаживал, это верно, и по воскресеньям читал там с Олей молитвы, которые острее донимали его, он был неверующий. Могила, плоть не существовали для него, он действительно ощущал смерть этой некрасивой, хотя и милой женщины, которая несколько лет была ему женой. Чувствовал, что ее нет. Помнил, что она умерла. Помнил, что умирала, как умирала. Только это единственное существовало, все остальное — нет. Вот почему носки брата показались Болеславу столь чудовищными, а расцветке их предстояло отравлять его скучные сны. Тот мир, от которого брат отпочковался, чтобы замутить туман между стволами сосен, вселял ужас. Приезд Станислава был пришествием марсианина. И одновременно вызывал неотвратимое ощущение реальности, которого Болеслав не испытывал на протяжении последнего года.

Он размышлял о том (впервые), что уже минул год, что Бася в гробу должна была измениться, что он никогда уже никого не полюбит, что Оля, по-видимому, совсем заброшена, что он о ней совсем не думал, что надо по-дышать какую-нибудь учительницу, одним словом, надо как-то двигаться. Куда и зачем, пока не знал, просто — надо двигаться. Это уже было огромным сдвигом. Им он был обязан этому тягостному приезду Стася.

Тут на лесенке, а потом и веранде раздалась тяжелая поступь сильных, босых ног. Девушка, разгоряченная бегом, вдруг своей тенью заслонила от Стася сосны.

— Где пан?

Стася не успел ответить. Болеслав отозвался из окна по другую сторону веранды.

Оказалось, что лесной сторож Янек, брат девушки, живший при лесничестве, угодил рукой в стеклянную дверь; на ладони глубокая рана, надо ее перевязать хорошенко, залить йодом. Занялись этим оба брата, и Станислав по-путно познакомился с задним двором и его обитателями.

Их оказалось немного: лесник с сестрой и матерью и два подростка, которые пасли коров и лошадей — Эдек и Олек. Вот и все. Дворик был маленький, чистый, но мрачный. Лошади и коровы помещались на первом этаже красного строения, а на втором — квартирка, где произво-

дилась операция. Две комнаты лесника и каморка — ребят. Маленькие оконца слабо пропускали свет. Сосны пачинались тут же за степами строения, которое наполовину служило жильем, наполовину конюшней. Отдельно еще стояли: амбар, каретный сарай, курятник, хлев.

Станислав возвращался домой еще более грустный, еще более безразличный. Кроме того, не покидала усталость от долгой дороги, он то и дело обливался потом. Однако после дождя парило, и установившаяся к полудню ясная погода не обещала продержаться долго. Стася прилег на клеенчатой кушетке и терпеливо ждал обеда. Болеслав непрерывно расхаживал по комнате, хоть и тесновато там было между его ложем и Олиной кроваткой. Девочка сидела с куклой в углу той же комнаты за кроватью. В минуты душевой пустоты Болеслав слышал, как дочка учит куклу молиться.

## II

Другие дни по приезде Стася были почти такими же, пожалуй, лишь с той разницей, что Болеслав теперь меньшее засиживался дома. Ему приходилось не только хлеснить по лесу, присматривать за теми или иными работами, бывать на лесосеке и лесопилке, которые находились довольно далеко друг от друга, но даже ездить в местечко. Болеслав не был там уже год, дорога теперь стала чуть получше, вспомнил множество давно запущенных дел, поехал. Он избегал оставаться наедине с братом. Костюмы Стася, манера выражаться и образ жизни бередили его почти зарубцевавшуюся рану. Ему претила та задумчивая радость жизни, которая проявлялась у Стася во всем: в движениях, словах, улыбке. Болеслав не признавался, но в собственном брате видел слишком много очарования, слишком много подкупающего обаяния, с которыми ни за что на свете не мог примириться. Не мог понять, каким образом это очарование, это обаяние отрывали его от Баси. И предпочитал сидеть на лесопилке и слушать, как скрипели евреи. Опаздывал к обеду, по Стася терпеливо ждал; он пристрастился к далеким прогулкам с Олей, и это его очень утомляло. Болеслав часто заставал брата на клеенчатой кушетке, по вечерам он рано укладывался в постель и после захода солнца не выходил из дома.

— Сохранилась у меня еще такая привычка из санатория,— сказал он брату.

Стась был очень мил, но по-прежнему крайне бестактны, смеялся, шутил, пел и насвистывал. Оля в обществе дядюшки немножко повеселела и выучила две немецкие песенки, которые пел ей Стась. Прежде она почти никогда не певала, а теперь мурлыкала по вечерам куклам, уложенным в лульки из бересты. Это еще больше угнетало и раздражало Болеслава.

Снова лило, и снова распогодилось, и как раз подоспели лунные ночи. Оля, очень поздно ложившаяся спать, в тот вечер сидела у дяди на кушетке и смотрела, как между соснами прорывается багровый свет восходящего спутника земли. Молчаливая от удивления, ибо Стась рассказывал ей, как восходит в прозрачном горном воздухе ночное светило и как он видел лунное затмение, когда луна выглянула из-за алеющего хребта напротив их санатория. Тогда, вероятно, морозило, и легкий от чистоты воздух с шипением врывался в горло. Девочка была в ужасе. Но луна из багровой превратилась в белую, и между соснами возникали очень светлые пятна.

Потом пошли на прогулку среди берез. Ходили взад и вперед, и Стасю все казалось нереальным. Потребовалось огромное усилие воли, чтобы все еще смеяться и шутить, держа за руку маленькую племянницу. Когда они очутились неподалеку от могилы, Оля остановилась и не захотела идти дальше, но Стась ласково сказал ей, что не надо бояться, что там нет ничего страшного. Ему бы тоже хотелось лежать — если уж настанет черед — в песке среди беломраморных стволов. Они приблизились к ограде, но увидели Болеслава. Он всего лишь стоял, но его покиншая голова и надломленная фигура были настолько выразительны, что Стась попятился.

— Там стоит папа,— сказала Оля.

И они уже молча вернулись домой. Оля пошла спать, старая кухарка Каталина уложила ее в кроватку, а Станислав снова глядел на стволы сосен, голубые от лунного света.

Вдруг в его комнату вошел Болеслав. Он видел их, видел, как они отдалялись от него и от могилы, и не мог удержаться от каких-то горьких слов, но Станислав ничего из этого не понял. Потом они перебрались в столовую

и пили там чай в молчании, наконец Болеслав принялся рассказывать обо всем с самого начала. Видно было, что эта исповедь приносит ему огромное облегчение, что он не только освобождается от тяжкой ноши, но одновременно разрушает преграду, которая отделяла его от брата. Итак, с самого начала: какая была Бася, тихая, добрая, обыкновенная, но необыкновенно милая; как ей вообще нездоровилось с самого рождения Оли; какая тогда была снежная зима, как потом наступила бурная оттепель, и ксендзу пришлось приехать верхом. Все то, что Станиславу вкратце изложила Оля в их первом разговоре, по гораздо подробнее, с возвращениями к уже затронутым темам, рефренами; Болеслав говорил очень сбивчиво, нескладно, но Стась слушал внимательно и не спускал с него глаз. Если рассказ брата и казался ему немудреным, то в глубине страдания все же чувствовались мощь и стойкость натуры, сила характера, пробивавшиеся сквозь безыскусные слова. Стась понимал, что Болеслав все-таки сильный человек, способный безгранично страдать и безгранично любить. Внимая исповеди, в которой столь явственно отражался характер, Стась сравнивал себя со старшим братом и жалостливо улыбался. Никакой глубины, все на поверхности — а вот уж и конец. И ничего из этого не получится.

Болеслав не был доволен своими излияниями, сразу же ушел к себе и долго не мог заснуть. Ему казалось, что Стась принял все это слишком безучастно, остался невозмутим, не проявил должного интереса. Болеслав полагал, что признание, из которого Стась узнает, что творится с братом, позволит им ближе сойтись. Между тем Стась на следующий день казался еще более чужим, еще более веселым и непринужденным. На его имя (почту доставляли два раза в неделю) начали поступать письма с заграницными марками, которые он аккуратно выстригал и дарил Оле. Дни теперь установились погожие, и они с Олей много гуляли. Болеслав с веранды или из лесу наблюдал издали за высокой худощавой фигурой Стася; в серой одежде он почти сливался с сероватым мерцанием, возникающим в сосновом бору; был почти голубой, а светловолосая головенка Оли смахивала на солнечный блик, влекущийся за ним.

В конце концов Станислав не выдержал и решил привезти из Славска рояль.

### III

Это была настоящая экспедиция аргонавтов. Сперва Стась отправился в город с тем самым лесником, который поранил себе руку. Путь был далекий и однообразный в буквальном смысле этого слова. Нельзя же без конца восторгаться лесом и деревьями, кроме того Стась уже несколько дней чувствовал себя хуже: его как будто основательно лихорадило, по, уезжая из санатория, он дал себе слово даже не смотреть на градусник. Небо было серовато-голубое, словно застиранный ситец, а сосны и березы чередовались в каком-то убаюкивающем ритме. Да и разговор с лесником не клеился, хотя парень был славный. Стася так и подмывало расспросить его о сестре, но это казалось слишком смелым и интимным. Неведомо почему — а может, оттого, что рядом сидел ее брат,— всю дорогу ему вспоминалась эта женщина, грубоватый и стремительный топот ног по дощатому полу веранды, сопутствовавший первому ее появлению. Только теперь пришло в голову, что у нее смуглое лицо, серые ясные глаза, такие же, как у брата. Она внимательно смотрела на него, когда он перевязывал лесника, пожалуй, тем же самым бинтом, который сейчас грязным ошметком болтался па руке его соседа по двухместной тележке. Желтый и зыбкий, почти мазовецкий, песок, чуть шелестя,сыпался с колес, было довольно жарко, и пот струился по спине и затылку Станислава. Это позволяло ему явственнее ощущать свое тело, оно становилось чем-то щекочущим-осызаемым, бесконечно приятным и обременительным одновременно; он бездумно глядел вперед и, казалось, внимал шороху песка в собственном теле.

Лесника звали попросту Япек, а сестру его — Малина. Только это он решился выяснить за всю дорогу. Стась приготовился к длительной поездке. Между тем не успел оглянуться, как начались пашни, а потом уже на совершенно ровном месте показались первые неказистые дома местечка. Остановились на базарной площади, надо было поискать этот самый рояль; для начала Стась вступил в переговоры с первым попавшимся ему евреем, тот адресовался к другому, и вскоре более дюжины их обступило тележку. Они рьяно чесали языками, жестикулировали, но дело не подвигалось, так как сперва следовало обсу-

дить возможности изыскания требуемого предмета. Стась спокойно прислушивался к этому гому.

Наконец разыскали в каком-то переулке квартиру, где сдавался напрокат рояль. Жилище потерявшего место то ли железнодорожного, то ли банковского чиновника. Жена его, еще молодая женщина, лежала больная в той же комнате, где стоял инструмент, и Стась, пробуя клавиши, заговорил с ней. Рояль — ее собственность, продавать его она не хочет ни в коем случае, но с удовольствием даст напрокат на несколько месяцев — деньги нужны, они бедствуют и ребенок у них умер. Через несколько месяцев, когда она выздоровеет, рояль снова ей понадобится: с осени она начнет давать уроки музыки. Стась внимательно посмотрел на нее, но она отвела глаза. В санатории больные слишком ему примелькались, чтобы лицо этой женщины произвело на него большое впечатление, но он пять секунд не сомневался, что осенью рояль ей уже не понадобится. «Ни ей, ни мне», — подумал он.

Труднее всего было с перевозкой. Напятая телега еле тащилась, то и дело увязая в песке. Три лошади, впряженные в одно дышло, шли неровно, и колеса, выбиваясь из колеи, увязали в песке. Рояль был кургузый и не очень тяжелый. Стась, обещавший лелеять инструмент, как дитя, не хотел обгонять телегу и велел Япеку ехать за ней шагом. Женщина, сидя в постели, беззвучно плакала, когда выносили рояль, и это разозлило Стася.

— Есть о чем реветь бабе, — сказал он себе, когда присматривал за погрузкой в узком переулке.

Теперь, следя за этим роялем, как за гробом, Стась все еще вполне отчетливо видел слезы, прозрачные и крупные, стекавшие по щекам худой женщины.

Вечер надвигался быстро и незаметно. Майский вечер, и среди деревьев уже стлалась лиловая дымка; полнеба тоже было лиловым и отбрасывало на песок между бороздами голубоватые блики. Колеса скрипели все пронзительнее, а еврей, возвышавшийся над роялем в какой-то невообразимой кошелке, покрикивал монотонно па лошадей. Даже Стася покинуло хорошее настроение.

Лишь поздним вечером добрались до лесничества. С помощью Янека, еврея из Славска, Эдека, Олеки и, наконец, Малины Стась выгрузил рояль и поставил в своей комнате. Еврей отвел лошадей во двор, и воцарилась полнейшая тишина. Стась подсел к роялю, положил руки

на поблескивавшую в сумраке крышку и смотрел в ночь за открытым окном, смотрел на стволы сосен и стволы берез, — ибо там уже начинался березняк, — и от чего-то стало сжиматься сердце. Никогда об этом не думал, но сейчас сделалось невмоготу.

Он заиграл совсем тихо, чтобы не разбудить маленькую Олю. Начал играть вещи, бесповоротно отзвечавшие и лишенные здесь всякого смысла. Все танго и слоу-фоксы, которые он танцевал в санатории, на фоне сурового пейзажа обретали оттенки вышедших из моды платьев. Особенно та гавайская песенка, под которую он кружил мисс Симонс. Песенка была очень красива, как и его партнерша, но, так же как она, уже ничего не значила. Болеслав не показывался во время выгрузки рояля. Вероятно, заперся в своей комнате и даже смотреть не желал на противный ему инструмент. Ночь была очень теплая, и Стась не думал о брате. Играя весьма позамысловатые песенки, он ощущал боль этой черной ночи и ее страх. Пока ему ничего не хотелось знать о настроении брата.

Между тем немного погодя Болеслав ввалился с грохотом, действительно наделал шума, пройдясь взад и вперед по комнате, наконец сел на кровать, и Стась видел, что он дергает себя за бороду. Только после длительной паузы Болеслав сказал:

— Видишь ли, и рояль твой, и все твоё музенирование мне неприятны. Ты забываешь о том, что в доме траур.

— Уж минул год, — сказал Стась, не прерывая игры, и слова его прозвучали, как зачин баллады, напыщенно и цветисто.

Болеслав вздрогнул:

— Эта музыка отчаянно треплет мне нервы.

— Мне тоже, — сказал Стась и перестал играть. — Она напоминает о мире, в который я никогда не вернусь и которого по-настоящему никогда и не изведал. Я глядел на все это из окна комнаты, сквозь стекла видел какие-то вещи, которые были бы прекрасны, если бы я мог к ним прикоснуться. Но я не прикоснулся и не прикоснусь. Это нечто вроде стекла или нечто из хрупкого льда... Послушай, Боль, — вдруг произнес он серьезно, — ты, по-моему, не понимаешь одной вещи. Не представляешь, зачем я сюда приехал.

— Как это зачем?

— Я знаю, что моя веселость и моя музыка раздражают тебя, по не лишай меня этого. Видишь ли, я присхал сюда непадолго... В моей болезни перед последней стадией обычно наступает улучшенис. Длится оно несколько недель. Периодом этим врачи пользуются для отправки такого пациента куда угодно — домой или в деревню, частным образом, чтобы не умер в санатории. Моя поправка уже сходит на нет. Извини меня, дорогой мой, но с этим я ничего не могу поделать. Хотел бы,— улыбнулся Стась,— но не могу... И поэтому не слишком мне перечь. Я приехал к тебе умирать.

Болеслав неподвижно сидел в темноте, по Стась и не глядел на брата; его по-прежнему влекла темная почь за открытыми окнами, и он думал о мисс Симонс, жалел, что не влюбился в нее, и напевал гавайскую песенку.

— Почему у вас нет соловьев? — спросил он немногого погодя.

— Были... но, видно, уже перестали петь.

Болеслав встал с кровати и прошелся по комнате. Но теперь шагал спокойнее и тише, словно старался ступать осторожнее. Несколько раз он приближался к Стасю и вглядывался в его лицо, белевшее во мраке, задумчивое, как бы отторгнутое от земли. Но тот не обращал внимания на брата, какая-то подспудная песнь трепетала в его больных легких. Потом он сказал:

— Видишь ли, это наступает тогда, когда с легких переходит на кишечник...

Болеслав молча удалился из комнаты и исчез на verанде.

#### IV

Лето началось на удивление погожее. Умеренно жаркие дни завершались теплыми вечерами, и почь опускалась безмятежная, тихая и полная пеги. Болеслава по-прежнему одолевала бессонница. Исповедь Стася не способствовала их сближению. Напротив, они чувствовали себя еще более скованными, когда встречались за столом. Болеслав с тревогой глядел на Стася, но не замечал на его лице никаких признаков развивающегося недуга. Он даже начал подумывать, что признание брата — лишь плод болезненного воображения. Стась много играл, писал письма, а во второй половине дня Болеслав обычно видел

его с Олей — прохаживающихся среди белых стволов березняка. Когда вечерами Стась возвращался домой, Болеслав, томимый бессонницей и сомнениями, бродил, в свою очередь, между могилой жены и почерневшими строениями лесничества и «двора». Порой он проходил мимо жилья работников, и оттуда всегда доносились веселые голоса и смех. Хотя ближайшая деревня была далековато, к Малине постоянно паведывался кто-нибудь из знакомых парней. Иногда, особенно в субботу или воскресенье, бывало их несколько, и Болеслав, удирая от фортепиано, попадал в сферу действия гармоники, на которой наяривал один из поклонников Малины. Со временем у Болеслава вошло в привычку останавливаться где-нибудь поблизости и слушать этот смех и эту гармонику. И если гавайские песенки, которые тихонько наигрывал Стась, его раздражали, то громкие и однообразные звуки гармоники стали доставлять ему удовольствие. Сама их обыденность хватала за душу. Он не мог сказать, что эта игра паведала безнадежность, тоску. Напротив, думал: как было бы хорошо, если бы Бася была жива и они ходили бы тут, по лесу и по двору, держась за руки. Басю паверняка радовало бы и чудесное лето и что к Малине ходят парни из дальних деревень. Бася всегда питала особую слабость к людям любимым и влюбленным и всегда радовалась всем романам, о которых слышала. И когда кто-нибудь рассказывал ей об исполненных страстей трагедиях, разыгрывающихся в польских деревнях, очень радовалась, хотя часто речь шла о кровопролитии, убийствах и увечьях. Любовь для нее была всем. Так, по крайней мере, думал Болеслав. И однажды решил посмотреть, какие парни паведываются в лесничество. Подошел к порогу, на котором сидели обитатели квартиры над конюшней. При его приближении разговоры умолкли, смех прекратился. Собравшиеся поздоровались с ним приветливо, но официально. Болеслав заметил, что из чужих здесь только Михал с соседнего хутора. Это был парень боевой, и Болеславу очень нравился.

Болеслав не знал, что он ходит к Малине. Впрочем, даже не спрашивал, ведь могло случиться, что Михал оказался тут ненароком. Мог заглянуть по пути в местечко, чтобы узнать, что слышно в этой глупи.

Потолковали о погоде, о видах на сено; Болеслав спросил у Михала, что нового у них на хуторе, однако разго-

вор не клеился. Болеслав понимал, что стесняет их, по у него не хватало сил, чтобы от них оторваться. Его влекло к людям, и особенно приятно было общаться с людьми простыми.

Но в конце концов Болеслав почел за благо уйти. Он подумал, что, пожалуй, в нем что-то начинает стареть или изменяться, коль скоро ощущил такую острую потребность в общении, разговоре. Мисовал березовую рощу и направился к своему излюбленному месту, где можно было думать, что лес кончается. Там действительно была канава, и за канавой тянулись крохотные наделы, за ними, в гуще вишняка, пряталась покосившаяся избушка старой Марийки, даже трубы не было видно из-за деревьев. За домом Марийки опять были поля, засеянные овсом, и только дальше начинался лес. Поля эти принадлежали лесничеству и, к сожалению, из года в год засевались овсом, который все более хирел, от чего рабочие лошади Болеслава были не в лучшей форме.

Он никогда не заглядывал сюда с Басей. И может, потому так любил это место и, слоняясь теперь каждый вечер по лесу (несмотря на усталость от дневных трудов), часто приходил на опушку; он стоял, смотрел и думал, что можно представить себе, будто поля тянутся без конца и края, не зная препяд, и на той стороне нет никакого березняка. А потом возвращалась мысль, что это только поляна, на которой Марийкина хата — лишь островорок.

Вечера были все такие же теплые. Болеслав не мог усидеть дома, где Стась столь часто играл на старом, расстроенным рояле. Инструменту не шло на пользу пребывание в доме, окруженному густым лесом. Он все сильнее хрюпал, а некоторые клавиши и вовсе перестали отзываться. Вальсы и танго звучали на нем ужасно, но Стась не прекращал игры. Случалось, он занимался ею целыми днями и от рояля отходил только, чтобы подкрепиться или прилечь. Теперь он время от времени укладывался в постель и особенно предвечерние часы любил проводить лежа, завернувшись в прекрасный кистчатый плед, напоминавший о Давосе.

Болеслав убегал в глубь темного бора, по осипший голос еще долго преследовал его, пока он, сделав огромный крюк по лесу, не оказывался за пределами досягаемости рояля. Тогда он сидел под сосной в молчании.

Ни о чем не думал, ветер был слабый, и только по самым вершинам деревьев пробегал тревожный шелест. Черные ветви сосен глухо гудели, предвещая перемену погоды. Болеслав сидел довольно долго. Когда ветер стихал, он улавливал отзвук шагов, скрадываемых опавшей хвоей; неподалеку кто-то прохаживался взад и вперед среди сосен. Повернувшись в ту сторону, Болеслав уловил приглушенный голос; однако не смог разобрать, кто там разговаривает. Это его немного разозлило. «Даже здесь нет покоя», — проворчал он сквозь зубы и сплюнул.

Встал и вернулся домой. Стась не играл, его не было ни в столовой, ни в спальне.

Болеслав перенес лампу из своей комнаты в столовую и неторопливо налился простывшего чаю. Катахина уже спала на кухне, а со двора не доносилось ни звука. Видимо, Михал не пришел сегодня с гармоникой, а может, именно он разгуливал по лесу.

Никогда еще Болеслав так четко не осознавал всей никчемности своего существования. Никогда еще не приходило ему в голову, что умри он — и вправду ничего бы не случилось. И суть не в том, что мир бы этого, конечно, не почувствовал, но и для него самого переход от бессмысленного существования к бессмысленному небытию не имел бы никакого значения. Попросту самый что ни на есть обыкновенный шаг, и к тому же малозначащий.

Он подумал о церемониях, связанных с его возможной смертью, с погребением; и как бы женщины его обряжали. Разумеется, Катахина и Марийка — точно так же, как Басю. А Малина пришла бы к нему? И обмывала бы его, как и жену? Нет, пожалуй, ведь это молодая девушка. Сколько ей может быть лет?

И впервые его озадачило присутствие Малины в лесничестве, и то, что она тут делает и как выглядит. Даже представить ее себе толком не мог; когда закрыл глаза и попытался вызвать в памяти ее образ, черты расплылись. Понимал только, что различает овал лица и скрученные на затылке косы, не покрытые платком. Не помнил даже, хороша ли она собой, дурна ли.

— Надо завтра утром пойти туда, — решил он.

Станислав очень долго не возвращался. Болеслав недоумевал, бродил по комнатам, заглянул к Стасю, но там никого не было. Рояль с поднятой крышкой напоминал

птицу. Болеслав склонился над клавиатурой и одним пальцем принял выстукивать мелодию песенки, которую певал некогда в молодости, на военной службе. Они стояли тогда на юге России в маленьком местечке, и он каждый день удирал тайком из казармы к прелестной девушке, которая жила неподалеку и выходила ему на встречу. Они забирались на чердак и там спали на сене.

Мелодия эта, зазвучавшая слишком громко под его неуклюжим пальцем, несколько испугала Болеслава, а состояние собственного духа удивляло. «Увы, свершилось,— подумал он,— с приездом Стася я стал совсем другим».

И быть может, лишь сейчас осознал смысл признания, сделанного Стасем несколько дней тому назад. Оно означало, что в доме его снова будет смерть, покойник, лежащий на кровати, могила в березняке или на погосте, что уйдет Стась, который всегда был ему таким чужим со своей «европейской» улыбкой. И снова явятся бабы обмывать тело Станислава, как обмывали тело его жены. Только Малине нельзя. Молоденьким девушкам не положено, это всегда делают старые бабы. Да опа и сама не пожелает, это совершенно исключено. Кому охота обмывать ничтожную плоть чахоточного? Он умрет... может, это и к лучшему, ведь даже представить невозможно, что бы из него получилось. Чахоточный — вот единственная его профессия.

Но Стась вернулся с такой улыбкой, с таким румянцем, столь похожий на человека счастливого, что мрачные мысли улетучились из головы Болеслава.

## V

На следующий день между братьями произошла нелепая стычка, впрочем, безо всякого повода. Повздорили из-за пустяка, за завтраком, Стасю не понравилось масло, Болеслав обозвал его «пижоном», попрекнул поездкой в местечко и связанными с ней расходами. Стась, удивленный грубостью брата, торопливо покинул комнату. Утро раннее, хмурое. Небо белое, сосны черные. Стась пошел какими-то окольными тропами, срывая на ходу редкие, чахлые маргаритки. На задний двор он проник со стороны зарослей бурьяна, которые окружают обычно свалки

близ людских поселений. Сразу же за кирпичным домом-кошошией, на утоптанной земле, черневшей, словно шоколад, стояла лохапь на табуретке. Малина стирала белье. Она стояла к нему боком, и Стась мог хорошоенько ее разглядеть. У нее была очень красивая линия лба и носа, веки, словно лепестки цветка, прекрасные, классически очерченные брови. Зато нижняя часть лица была грубовата, рот чересчур большой, зубы слишком белые; в улыбке, впрочем, довольно редко появлявшейся, было что-то дикое, по Стася это не отталкивало. Бродя по лесу, Стась, помимо воли, думал о Малине и радовался, что это помогает забыть неприятную сцену, устроенную Болеславом. «Наверняка считает, что деньги потрачены зря, ведь я и так умру», — сказал он себе, но мысль эта лишь на мгновение заслонила, как темная сосна, светлый фон неба, иные, более веселые мысли: мысли о существовании Малины. Вчера вечером, гуляя с пей в лесу, Стась узнал, что в метрике она, собственно, записана Мальвиною, по родителям легче было выговаривать Малину. Стась заверил ее, что так гораздо лучше и что она, конечно, похожа на Малину, а не на Мальвицу. Это очень ее рассмешило.

Стась внимательно следил за движениями мускулистых молочно-белых рук стирающей девушки; грудь ее обтягивала тесная, кургузая кофтенка, выцветшая, когда-то лиловая, застегнутая на маленькие пуговки. Руки двигались четко и проворно, споровисто. Скорей всего, она стирала рубахи, свои и Япека. А может, Михала?

Стась не приближался к ней и не расспрашивал ни о работе, ни о здоровье, ни о погоде, немножко повременив, бесшумно повернул назад и направился к березняку, такому чудесному в эту пору. Березы, клонясь в разные стороны, местами образовали подобие костельного нефа, и белые колонны стволов были исполнены сегодня какой-то сосредоточенности. Как обычно такими пасмурными днями, сулящими ненастье, но еще теплыми, нависшими над миром и словно приближенными к земле пизким белесым небом, Стась ни о чем не думал, только ощущал, что еще живет. Не думал даже о том, что скоро все это перестанет для него существовать. Не придавал значения тому, что его окружало. Важны были «мир», «Европа», олицетворяемые для него сверкающими коридорами салютариев и чулапчиком под лестницей, где временно хранились кожаные чемоданы больных. Ему нравился тамош-

ний воздух, наполненный запахом эфира и звуками гавайских песенок. Чуть презрительно взирал он на белые, склоненные к земле березы, столь похожие на «мелсзы», которыми изобиловали высокогорные альпийские долины. Он даже не знал, что на его родном языке они называются «лиственницами».

Болеслав и не предполагал, что Стась настроен так благодушно, что самое худшее для него уже осталось позади. Он рас прощался с тем миром, словно это был подлинный мир. Хрупкая мисс Симонс и шелковистый мусслин ее платья, и зеркальная гладь озера, и облака над ледниками, и пластинки из Парижа, и чемоданы из Лондона... То была жизнь. А здешние березы и могилы, чахлые цветы и заброшенный ребенок — все это ненастоящее. Он приехал сюда уже надломленный прощанием с миром; последним звеном, связывающим его с жизнью, был ро-яль, взятый напрокат в местечке у «сестры во болести». Именно этого Болеслав не мог ни почувствовать, ни понять. Он задевал брата грубыми словами, а тот, собственно говоря, уже был не жилец.

Стась увидел сквозь деревья, что кто-то к нему приближается. Это был Янек, брат Малины. Стась питал к нему большую симпатию, парень напоминал сестру. Болеслав как-то рассказывал Стасю, что Янека подозревали в убийстве; он якобы застрелил в лесу какую-то бабу, собиравшую ягоды или грибы. Разумеется, никто этого не знал наверняка, но факт сам по себе казался неправдоподобным. Янек отнюдь не походил на преступника, кругло лиций и румяный, волосы темные, взъерошенные.

Он подошел к Стасю и поздоровался. Потом присел супротив него, отложив в сторону ружье. Улыбнулся Станислав и, откинувшись назад, спросил:

— Это вы вчера гуляли с Малиной?  
— Гулял, — сказал Стась.  
— Михал искал ее весь вечер и очень злился. К пей теперь Михал ходит.  
— А ты к кому ходишь, Янек?  
— Михал страсть какой сердитый. Не сделал бы вам чего.

Станислав рассмеялся. Что ему можно сделать? Впрочем, Михал зря беспокоится, больше он не будет гулять с Малиной.

— Не правится вам?

— Не тревожься. Напротив. Слишком нравится, и мне хотелось бы мешать Михалу.

— Можете гулять с ней, — доверительно сказал Янек, — только чтобы Михал не знал. Вы Малине нравитесь, да она боится Михала.

— А что ей Михал? — возмутился Стась.

— Как что? Михал на неё женится.

Янек ушел, ему надо было обойти свой участок. Стась снова остался один на поляне, снова смотрел на березы, только что-то изменилось вокруг. Пейзаж уже не казался таким бесстрастным, погрустнел и вместе с тем повеселел. Стась посмеялся над собственными иллюзиями. Но был доволен — это чувство овладело им впопыхах, — радовался, что у него еще осталось несколько дней жизни. Дни эти разрослись теперь до бесконечности, часы, оставшиеся до вечера, фантастически удлинились, и каждую минуту он воспринимал, как драгоценный подарок.

В тот день Стась впервые за долгое время измерил температуру. Она составляла 37 и 9, не так уж много. Утренняя слабость к вечеру миновала, и его охватила жажда жизни. Попросил у Болеслава лошадей, захотелось прокатиться. Прихватил Олю и поехали. Лошадьми правил Янек. Песок снова запелестел между спицами колес, но эта мелодия уже не звучала грустно. К вечеру белесое и высокое небо на минуту расступилось, заголубело над их головами и главами сосен. Прогулка была приятнейшая и надолго запомнилась Оле, как некая эпоха в ее жизни. Это была первая прогулка, устроенная дядей Стасем, и первая по счету без Малины. Поехали к озеру, плоскому, черному, обрамленному низкими берегами, скорее похожему на большую лужу, и все же очень им понравившемуся; у берега стояла рассохшаяся лодка, по Стась, несмотря на настойчивые уговоры Янека, не рискнул пуститься на ней в плавание. Когда возвращались, небо снова заволокло тучами и начал накрапывать дождь, впрочем, не очень сильный, теплый, предвещавший длительное ненастье. Стась закутал маленькую племянницу в свою пелерину и смотрел на сумрачный пейзаж, на деревья зеленые и разомлевшие за голубой сеткой дождя. Поснились мокрые спины лошадей, и вечер становился мглистым и голубым, когда они подъехали к дому лесничего. Пахло сосновой хвоей, и капли, падая с ветвей и листвьев на трухлявую кровлю веранды, стучали тихо,

словно разговаривали. Перестук их учащался, время от времени превращаясь в сплошной гул, который то стихал, то снова возвращался, точно какой-нибудь пассаж в бесстрастной музыкальной пьесе.

Стась сидел один в своей комнате и думал о том, что сегодня уже не увидит Малипу. От забытого на дожде под его окном разведенного самовара пизко стлался дым. Михал, вероятно, играл на гармошке в комнате, ибо едва затихал разговор капель, ухо улавливало слабые звуки, долетавшие со двора.

Снова припомнились все упущеные возможности — до болезни в Варшаве и потом в Давосе, и стало обидно, что он никого и никогда не любил.

Когда уехала мисс Симонс, снега еще не было, в день отъезда она стояла в черном атласном платье с вышивками на рукавах серебряными звездами. Перегнувшись через перила дубовой лестницы, она смотрела на него влюбленным и неземным взглядом, но он действительно не мог ей ничего сказать своими глазами. Печаль и разочарование столь явственно переполняли ее, что он почувствовал к ней жалость. Как ему было досадно. Даже хотел сказать ей что-то подобающее, но не находил слов. За окном великолепные темно-лиловые тучи клубились ниже Шиахорна и Зеехорна; небо было холодное, лиловое; глаза у мисс Симонс грустные. Он и в самом деле решительно не знал, да и не мог знать, почему чувства, от которых вздыхалась ее грудь, не находили в нем отклика никакого, ни потом. Стась подумал, что он какое-то бесполое глупое существо, которое неспособно отважиться на малейшее чувство. Тогда он, возможно, и не рассуждал подобным образом. Мысли эти внушил себе задним числом, сидя в темной комнате и прислушиваясь к шуму дождя. Навязывал их себе и сейчас, когда казалось, что должен что-то высчитывать, складывать, подводить итоги и выжимать содержание из дней, начисто лишенных всякого содержания. Разумеется, итог получался ничтожный, однако Стась ни исправить его, ни изменить не мог. Он полностью приписывал свою душевную пустоту только тому, что никогда не любил. Но и над этим долго не ломал голову, разыгравшееся воображение повлекло его лесом, березняком к тому месту, за домом лесничего и зарослями терновника, где было нечто вроде свалки и откуда видны были желтые двери кирпичного здания

и ворота конюшни и где он только что лицезрел молодую девушку, стиравшую исподнее своего брата и своего любовника. Любовника? Он попробовал уяснить себе значение этого употребительного в народе выражения: Михал «ходит» к Мальвине, — но решительно не мог определить границ этого слова. Оно имело столько эмоциональных оттенков и отнюдь не означало, что Михал — любовник Малины. Может, просто мимоходом...

Гаммы, выступающие по крыше, повторялись все чаще и чаще. Дождь разошелся наконец вовсю; Стась лежал одетый в постели и смотрел на неподвижную тень дерева за окном. С минуту ему казалось, что она раздалась и кто-то пошевелил листья и гибкие ветви липы, росшей у самого окна. Впрочем, нет, попросту, корона прогнулась под тяжестью накопленной воды, а потом, избавившись от нее, стремительно взмыла вверх. Из комнаты Болеслава падал свет на обмываемый дождем лес, и в его лучах поблескивали тоненькие нити летящих капель, но дальше все оставалось темным, синим, недоступным и полным таинственного шороха.

Станиславу показалось, что жизнь среди шума дождя и шелеста мокрых листьев упоительна. В висках тихо постукивало, как и па дворе, и сердце билось живее. Уединение в лесной сторожке, полнейшая отрешенность от всего иного были чем-то из ряда вон выходящим, и Стась подумал, что уготовил себе особенный финал. Впрочем, это был не финал, это была увертюра. По-настоящему жизнь только начиналась. Она была прекрасна и исполнена гармонии.

## VI

Три последующих дня, на протяжении которых дождь лил не переставая, были самыми счастливыми в жизни Стася. Гармония мира, открывшаяся ему в тот вечер, придала удивительную полноту его ощущениям, над которыми властвовал шепот теплого и неутомимого дождя. Все было восхитительно и как бы претворено в живопись или музыку. Липа, касавшаяся мокрою листвой крыши и почти окна его комнаты, напоминала по форме мастерски написанный роман, хитроумно подразделяющийся на ветви и увенчанный зеленью. Когда Стась по утрам просыпался, в еще дремлющее сознание врывался звук ка-

пель, мерно падающих с крыши, и журчание воды, стекавшей по желобу в подставленную кадку. Переiplстаясь со спом, музыка эта напоминала звуки оркестра, которые порой нам слышатся по почам. Стась воображал, что он находится в огромном зале, где собралось множество людей, и что все они внемлют гулу пастваемых инструментов. Потом мало-помалу, не поднимая век, он разливал льющийся из окон зеленый свет, а затем весь пропикался глубокой трепетной радостью существования. Вот так начинался день, проходивший безо всяких событий, но до краев заполненный внутренним светом. В отблесках этого света даже угрюмый Болеслав казался необычайно жизнерадостным человеком. Лучше всего бывало по вечерам; Стась испытывал лихорадочное возбуждение, слабость исчезала, и пульс живее стучал в висках. Он кутал ноги в плед и укладывался на веранде, где тянуло сыростью и стоило только протянуть руку, чтобы побрать полную пригоршню мокрых листьев, широких и очень приятных на ощупь. Тогда отступали на задний план все «европейские», как называл их Стась, картины, и казалось, будто он никогда не уезжал из Польши и с самого детства сидел вот здесь и глядел на сосны, липы, березы. Пасмурное небо вечерело стремительно, густеющий сумрак почти смыкался с дождем. Ничего уже не видя, Стась тем остree воспринимал шорохи. Они выбрировали на разные лады по-прежнему где-то возле него, подступая все ближе, пока не пленяли полностью: он засыпал. К ужину Стась приходил прогрехий и вышивал рюмку водки. Болеслав сидел у керосиновой лампы неподвижный, грустный, молчаливый и недоступный. Не обращая внимания на его настроение, Стась, молчавший целый день, принимался рассказывать обо всем: о Давосе, кафе, санаториях, о девушках, которых там было хоть отбавляй, о музыке, об отголосках симфонического оркестра, похожих на шепот дождя здесь, в лесу. За все эти три дня Стась видел Малину только дважды: она заглядывала по какому-то делу к Каташине и пробегала мимо веранды с высоко поднятой юбкой, открывающей молочно-белые обнаженные икры. Зычным голосом здоровалась со Стасем и, не оборачиваясь, исчезала за углом дома. В эти минуты словно электрический заряд пронизывал его изможденное тело. Он не смотрел вслед, даже не задерживал на ней взгляда, но ощущал минутное присутствие

Малины всем своим существом, и его сильнее бросало в дрожь. Но сильнее озабоча и бормотанья капели было чувство единственное и неповторимое, чувство обретения. Все его странствия, все встречи казались лишь подготовкой к трем пенастным ночам, которые он проспал с таким ощущением, будто в сердце у него скрыта величайшая тайна. И все это вместе взятое являло собой радость, безмерную, прямо-таки непосильную — вот почему трудно было подняться, встать, ходить с такой ношей в сердце.

Он подолгу просиживал в своей комнате у окна и смотрел на покров из серых пней, за которым прятался мир, смотрел на однообразные шеренги сосен так, словно видел их впервые, и внезапно осеняла его мысль об этой девушке. «Значит, это и есть жизнь», — приговаривал он сквозь зубы. И фраза эта, которая собственно ничего не выражала и была только отдушиной для обуревавших его чувств, сделалась лейтмотивом тех незабываемых дней. «Значит, это и есть жизнь», — повторял он по любому поводу.

Ему казалось, что в тот момент, когда он прощался с какой-то частью своей жизни, покинул все, что, по его понятиям, было «большой жизнью», «настоящей жизнью», когда захлопнул за собой дверь, чтобы спокойно здесь умереть, тогда только жизнь открыла ему свое подлинное лицо. Он даже не вникал, почему считает эту жизнь завоеванной или открытой именно сейчас, а просто радовался тому, что прежде, чем уйти отсюда, он познал все эти слившиеся воедино чувства.

К полудню дождь становился гуще, тяжелее, назойливей, и даже не верилось, что за тучами, провисшими над бором, есть ласковое солнце и голубое небо. Но Стася и не искал глазами голубого неба. Оно могло вовсе не показываться, Стася радовал дождь, холод, который пробирал до самых костей, когда он стоял у окна и смотрел на серые космы тумана, цепляющиеся за черные ветви омытых дождем сосен. «Значит, все-таки нашел», — повторял он, переиначивая для разнообразия свою фразу. И не следовало спрашивать, что нашел. Речь шла о чем-то потаенном и неизъяснимом, какой-то обратной стороне, подоплеке всего зримого — деревьев, домов, строений, людей. И что было фоном и сущностью одновременно и наполняло умирающуюющей неизменной радостью. Он боялся, что все

это исчезнет с первым лучом солнца, и встревоженно следил, не проясняется ли. Но дождь, монотонный, лишь изредка меняя ритм, стучал по крытой гонтом крыше, и ручеек, стекавший по водосточной трубе в бочку, журчал все так же громко и задорно. Стась в этом шуме чувствовал себя наверху блаженства.

Он весь был поглощен собой, своим дыханием, своей живой плотью, биением пульса в висках и на запястьях, поминутно расчесывая волосы, спадавшие на лоб, смотрелся в зеркало, как бы желая удостовериться, что еще существует. Потом отправлялся на кухню и торчал у огня и смотрел, как кипит вода. Пузырьки, выскакивавшие на ее поверхность, пар, приподнимавший крышку, развлекали его, как ребенка. Он глядел на пламя, вырывавшееся из сухих коротких чурок, которые Катахина подбрасывала в плиту. Запах картошки, которую парили для борща, ласкал его ноздри. После кухонного тепла и потрескивания дров тем приятнее было ему уединяться в сырой, тихой, сумрачной, полной шорохов, комнате — прибежище его неусмениго счастья.

На третий день к вечеру на горизонте появились голубые и зеленые просветы и дождь прекратился. Стась обратил внимание на маленькую Олю, которая, вопреки проливному дождю, все эти дни не меняла образа жизни и возвращалась домой с мокрой головой и спешившимися волосами. Но малышка потеряла к дяде доверие и довольно холодно встретила проявленный им интерес к тряпичной кукле и вообще к положению дел в углу за кроватью, где она проводила все свободное от прогулок время. Почему у нее возникла неприязнь к Стасю, установить было невозможно. Однако неприязнь эта миновала быстро — прежде, чем зеленые и голубые разводья на небе сделались густо-синими, прежде, чем эта холодноватая сипева окутала весь небосвод, прежде, чем наступил погожий и холодный вечер. Стась, покашливая, взял Олю за руку, и они нырнули в мокрую листву и траву. Сначала была кромешная темень, и, лишь когда глаза освоились с мраком, сгустившимся над деревями, удавалось различить белесый простор небес. Стась помышлял только об одном, об окошке над конюшней, которое должно сейчас светиться, маленьким окошке, почти квадратном, с четырьмя стеклами. Продираясь сквозь кусты, отрясавшие им на головы капли, они пошли туда; окно было освещено

небольшой лампочкой, призрачные, зыбкие тени падали на стены. Никого не было видно, но из комнатушки доносились звуки гармоники. Оля крепче стиснула руку Стася.

— Дядечка,— сказала она,— слышите, дядечка. Там играют.

Стась уже давно слышал посовые звуки, то и дело прерываемые паузами перемен, и все это запечателось в его омертвевом сердце, как отпечатки на воске. Он четко слышал мотив популярной песенки, которую некогда папевал в Швейцарии и которая только теперь, в местной обработке, добралась до этого захолустья. Звучала она совсем по-иному, как и совершенно иной сделалась его жизнь среди берез и сосен, жизнь новоявленная, сбretенная на краю гибели. Поэтому он еще постоял с маленькой Олей, приглядываясь к четырем освещенным квадратикам на черной в эту пору стене и внимая гнусавым септимам и секундам, извлекаемым Михалом из сырой и черной пустоты.

Отныне уже до конца — так думал он — ему будет сопутствовать эта мелодия, имевшая так переиначенную, превратившуюся из слоу-фокса в какой-то краковяк или быстрый марш, более соответствующий польской натуре исполнителя. Совсем не та, которую распевали несколько лет тому назад все уличные мальчишки Цюриха, где Стасю делали первую операцию. Если, разумеется, в Цюрихе есть уличные мальчишки, спохватился он немного погодя и начал торопливо и сбивчиво рассказывать Оле о регатах на великолепном и обжитом озере. Впрочем, и Стась не придавал значения своим словам, и Оля пропускала их мимо ушей. Она снова дернула его руку:

— Пойдем туда,— сказала.— Послушаем Михала.

Он с минуту раздумывал. Предложение Оли более чем отвечало его желаниям, но Стась боялся, что это слишком стеснит общество, собравшееся над конюшней. Наконец решился и, войдя в горницу, выбеленную до голубизны, тут же пожалел о своем шаге.

Все очень смущились, и мать-старуха, и Янек, и Михал. На столе стояла бутылка водки. Только Малина не растерялась. Смахнула передником пыль с табуретки и пододвинула Стасю; тот и взгляда ее не удостоил, посадил на колени Олю и приветливо заговорил с Михалом о трудностях игры на гармонике. Янек сидел на шестке

перед полукруглым устьем русской печи, где горела щепа, на досках, прикрытые мешковиной, выстроились раздделанные хлебы, трещал огонь.

Стась, не глядя на девушки, видел каждое ее движение, каждый взгляд. Только она существовала здесь для него: налила ему рюмку водки, унесла лампу в глубь комнаты, чтобы проверить, достаточно ли поднялось тесто, и с минуту все оставались в тишине, полуутьме, по стенам скользили огненные блики, красные и золотые, и Михал вдруг припал спиной к стене, уставился в огонь и заиграл так протяжно и тоскливо, что Оля крепче прижалась к Стасю, не отрывая глаз от грубошатого, но выразительного лица гармониста. Музыку слушали молча.

Станислав чувствовал, как водка теплом разливается по жилам, как исчезает ощущение сырости, осевшей во время прогулки на волосах, обуви, одежде. Он склонил голову и слушал чудовищный, хриплый голос гармошки, действительно очень неприятный и начисто опрокидывающий все его не осознанные чувства, которые он до сих пор так быстро прогонял сквозь едва освещенное сознание. Все, доселе пережитое, представлялось падением, а для того чтобы подняться, оставалось уже так мало времени. Он заметил, что спокойно ведет счет этому времени, не думая ни о себе, ни о своей смерти. Это мир должен был умереть, а не он.

Заметил, что Оля во все глаза, с немым восторгом смотрит на Михала. Сердечко ее билось у него под пальцами, он чувствовал это и опасался, что его собственное сердце бьется почти так же сильно. Обернулся и увидел, что Малина стоит в глубине комнаты, за тенью от печки, в углу, прислонясь к стене, и слушает игру Михала, откинув назад голову. Удивительные, совершенной красоты веки до половины прикрывали глаза, и отблеск тусклого света падал на них, на веки и на волосы, пряди которых выбивались из-под платка.

Михал наконец умолк, Стась поблагодарил его, пожал ему руку и вышел, ни на кого не глядя. Оле уходить не хотелось, и она висла на руке у дяди. Стась цыкнул на нее, а потом раскаялся.

Уже стоя в ночи, полной запахов влажного леса, он подхватил ее на руки, легкую, как перышко, прижал к себе исыпал поцелуями ее лоб, волосы. Оля худенькими ручонками обвила шею Станислава и крепко прижалась

щечкой к его щеке. Стась почувствовал, что малютка плачет, слезы медленно текли у нее из глаз.

— Что с тобой? — спросил он.

Сдавленный голос коснулся его слуха, словно дуновение этой темной ночи:

— Я так люблю Михала... И мама... И мама...

От этих слов его бросило в дрожь. Он еще крепче прижал к себе хрупкое тельце девочки и закрыл ей ладонью рот. Испугался, что сам расплачется, что под бременем чего-то неведомого и непостижимого умрет прежде времени. Уложив Оленьку на руках, словно в колыбели, и покачивая ее из стороны в сторону, он медленным шагом направился к дому. То ножки, то головка девочки задевала за листья, за ветки, и капли с шумом падали в траву. Немного погодя Стась заговорил веселым и ровным голосом.

— Глупости болтаешь, Оля, страшные глупости... За это я устрою тебе ванну, основательно выкупаю под дождем, основательно выкупаю, прямо в воздух подброшу.

А Оля уже смеялась:

— Дядя, дядя, дядя, не разбейте мне голову об дерево.

Но Стась сказал серьезно:

— Нет, я кошка, все вижу в темноте.

И под громкий смех они остановились у веранды.

Станислав передал Олю Катахине, по Болеслава дома не было. Обида и страх смелись хорошим настроением, и от мысли об одиночестве брата Стась даже расчувствовался. Захотелось найти его, захотелось сказать, что вовсе не сердится из-за той сцены и всего, что Болеслав ему тогда наговорил. Подумал, что брат паверняка опять ушел в ночь и стоит среди белых берез, у могилы жены, что эти бдения ужасны и толку от них — никакого. И что мокро и сырь, и капли дождя просачиваются сквозь песок до самого гроба, в котором лежит Бася, и что сознавать это Болеславу, видимо, тяжко.

Стась неторопливо побрел к роще; раздумывал о том, какая у них разобщенная жизнь, как они охотно удирают из мрачного лесничего домика, вечно куда-то уходят, где-то бродят, и даже часы трапез становятся неопределенными и необязательными и редко собирают семью, состоящую из трех человек, за одним столом.

Ближе к почи влажный воздух потепел, и земля за-  
курилась. Стась шагал медленно, волоча ноги, сердце  
успокоилось, и дыхание стало глубже.

Подошел к могиле, оперся рукой об изогнутый ствол  
березы, ощущая пальцами гладкие и шершавые слои  
коры. Но Болеслава у могилы жены не было. Стась постоял  
немного в одиночестве, пытаясь проникнуть в мысли бра-  
та. О чем ему думается, когда он стоит возле того места,  
где на глубине нескольких метров лежит в песке погре-  
бенная женщина, которую он любил? Стась никогда нико-  
го не любил и поэтому до сих пор толком не представлял,  
что чувствует брат. Лишь теперь задумался на этом  
месте, где тление переплеталось с новой жизнью. И, даже  
не подсчитывая, через сколько педель его самого здесь  
зароют, Болеслав — здоров, крепок, и ему еще долго при-  
дется бродить между березняком и поляной, где хата Ма-  
рийки...

Музыка Михала полностью выветрилась у него из го-  
ловы, теперь он внимал тихому шуму деревьев, а также  
думал о том, что если бы человек мог слышать, ложа  
в земле, на глубине трех метров, то услыхал бы он, если  
бы сыграли у него на могиле. Пожалуй, пет, тяжелая  
и плотная земля не пропускает звука, и в ее глубинах  
царит тишина, как в пустыне.

Услыхал шаги, вздох совсем рядом. Снял руку с бере-  
зы и прикоснулся к существу, которое очутилось возле  
него; ощущая такую же шероховатость и гладкость, как  
и у березовой коры, те же самые капли росы, ту же про-  
хладу. Только под тканью, которой он коснулся, таилось  
скрытое тепло, обнаружившее себя вздохом.

Не обменявшиеся ни словом, они только отошли на  
несколько шагов от могилы. По соседству были здесь ка-  
кие-то кустики и мох на земле, вероятно, посуше, чем в других местах. С признательностью Стась подумал, что  
вот куда пошла она за ним. Присели. Он молча обнял ее  
и ощущал исхудавшей рукой выпуклости мускулатуры на  
широкой спине, бугорки позвонков. Вспомнил о женщине,  
лежавшей в могиле, а потом с пежностью, благодар-  
ностью и упоением, которых у себя и не подозревал, при-  
ник лицом к ее груди. Она обняла его тоже молча, теплая  
и влажная от росы, опрокинула навзничь и легла рядом.  
Так лежали они очень долго, недвижимо, прислушиваясь  
кочной жизни леса и к шелесту мелких березовых

веток. Потом Стась Петоропливо передвинул руку к ее сердцу, и под его ладонью, под выпуклостью груди и ребрами оно вдруг забилось ровно, ритмично и степенно, словно и вовсе не должно было останавливаться.

Потом он поднялся один. Опа еще лежала усталая и умиротворенная. Он встал и почувствовал, что вся одежда отсырела, выпул носовой платок и отряхнул перепачканные колени, смахнул капли воды с волос, осушил лицо, дышавшее любовью. Затем, присев на корточки, нагнулся, с пежностью отер лицо Малине и снова ощутил под пальцами совершенную красоту ее век, похожих на весенние листочки. Опа лежала, не шевелясь, и ничего не говорила, как вообще не сказала ни слова с самого начала. Он сунул ей в руку свой платок и прошептал на ухо:

— Возьми па память.

Потом опять улегся, лег павзничь, она супула руку ему под голову. Глянул вверх, небо было мутноватое, высоко, бесконтактно высоко, мерцала среди ветвей звезда.

## VII

Дни пенастные, затем погожие, были теми днями, когда Болеслав метался по лесу (не прекращая работы) и по дому, точно зверь в клетке; не было ему особенно грустно, только тягостно физически, словно камень на плечах, он ощущал необходимость вставать по утрам, ходить, есть. Все эти действия и отправления утратили всякую окраску и сделались тем невыносимее. Ощущение пустоты настолько усугубилось, что он даже перестал навещать могилу жены. В те последние вечера, когда бывал там по своему обыкновению, к мыслям его примешивалось такое, что он предпочел временно впервые после этой смерти — прервать посещения могилы.

Болеслав цепенел от мысли, что может прибавиться еще одна могила. Порой ему казалось, что жизнь, которую они ведут, — мираж, нечто выдуманное, от чего легко отрешиться. Уверял себя, что Стась рассказывал о своей болезни просто так или страшная. На самом же деле ему ничто не угрожает. Но в те дни, когда лил дождь и брат отрешенно лежал у себя на веранде, не произнося ни слова, Болеслав, исполненный ужаса, думал, что это уже конец. А тем погожим вечером, когда Стась в хорошем расположении духа, отправился с Олей на прогулку, Болес-

лав тоже повеселел и даже посмеялся над своими страхами. Он поплелся за ними следом, несколько удивленный направлением, которое выбрал Стась, проследил, до какого места они дошли, остановился вместе с ними, глядя на освещенные окна над конюшней, остался один во мраке сырой ночи, когда они поднялись наверх. Звуки гармошки терзали слух, он стоял и смотрел в освещенное окно. Видел, как огонек лампы отпрянул в глубину комнаты, а по стенам и стеклу засновали отблески пламени. Музыка Михала обрушилась на него, пеистовая, еще более волнующая, чем прежде.

Теперь не оставалось сомнений, что Стась «влюбился» в сестру лесника. Только этого не хватало. И что он нашел в этой простой девушки? Такая же девка, каких тысячи в здешних лесах, так нет же, угораздило. Мало ему европейских барышень, чьи фотографии он расставил в своей комнате на грубом деревянном столе. Малина, собственно говоря, дурпушка, только глаза хороши, как и обрамление: брови вразлет, веки, ресницы.

Болеслав зажмурился, хотя была почти непроглядная темь, и снова попытался представить себе лицо девушки. Но стучала падавшая с крыши капель, по водосточной трубе колотились последние всплески, и эти близкие звуки мешали сосредоточиться. Он видел какие-то другие глаза, другие лица, другие веки. Ему казалось, что он стоит здесь недолго, что еще не успел всего обдумать, и музыка Михала, немного приглушенная, но все же отчетливо звучащая, еще не сказала ему всего. Бор подступал чуть ли не к самому строению, четыре пестрые сосны стояли против квадратного окошка, и ему вдруг захотелось взобраться на одну из них и заглянуть в комнату. Но даже самые низкие ветви начинались слишком высоко, к тому же Болеслав устыдился своего намерения. «Вот до чего доходит», — произнес он почти вслух и придвигнулся вплотную к стене, чтобы получше слышать. Музыка оборвалась, раздались шаги Стася и Оли, а потом приглушенный шепот девочки: «Я так люблю Михала... И мама... И мама...»

Он не знал, договорила ли Оля фразу или конец ее развеял ночной ветерок. Те двое сперва шагали тихо, потом все громче, шелестя в кустах, а он остановился, словно пригвожденный, не понимая ни слов, которые услыхал минуту назад, ни собственных чувств.

Ровным и спокойным шагом Болеслав забрел далеско в чащу и домой вернулся только к почи. Потом слова расхаживал по комнате, часто приостанавливаясь возле кровати крепко спавшей девочки. И даже не задумывался, был ли в словах Оли какой-то скрытый смысл; не могла такая малютка знать никакой страшной, гнусной тайны; ведь уже полтора года, как умерла Бася. Михал в ту пору вовсе сюда и не заглядывал, не ходил еще к Малине и не помышлял об этом. Он только хотел знать, о чем говорила девочка, и не смел спросить прямо. Смысл ее слов должен был остаться вечной тайной сырой почи, не подлежащей разгадке. И над всем простиралось безмолвие, как над могилой в березняке.

Но особенно бесило то, что ужас, в который повергли подслушанные слова, почти уравновешивался яростью, вызванной тем, что Стась ходит в дом Мальвины. Правда, он пробыл там недолго и хотел только послушать музыку, в комнате было еще несколько человек, Стася сопровождала Оля, и все-таки это было неприлично. Болеслав собирался завтра же с утра обратить внимание брата на его неподобающее поведение. Но, едва встал, пришло срочно выехать на отдаленный участок, где с самого утра начали метить деревья, предназначенные для вырубки, а он обязан был за этим присматривать.

Погода была неопределенная, и полно туч на небе. Холодновато. Болеслав проторчал в лесу до вечера, наблюдая за работами, пронумеровывая деревья и стараясь не думать о вчерашнем вечере. И впрямь он казался каким-то наваждением. И, кстати, много думал о Басе и очень тосковал по ней. Болеслав помнил, как она покупала землянику у бабы, каксыпала на блюдо из кувшина целую гору ягод, помнил, как в белом платье шла с Олей по лесу, помнил, как принимала из рук Михала зайца, которого он принес ей в подарок. Да, значит, Михал приходил еще тогда, но ведь это был сторож, мужик, некто, кого совершенно не приято замечать, как, например, он сам решительно не обращает внимания на невесту Михала.

Болеслав не был истериком и слишком уважал Басю, чтобы подумать о ней дурно, но уже то, что мысль о покойной жене как-то связывалась с мыслями о физическом влечении, о плоти вообще, крайне его раздосадовала. Ему впервые пришло в голову, что Басе мог нравиться

ся кто-то, кроме него. Что, например, прекрасное телосложение Михала могло произвести на нее некоторое впечатление, вызвать мысли, которых он у своей жены не подозревал ни разу за всю их короткую совместную жизнь. Что в мире ее страстей были уголки, куда он никогда не допускался.

Болеслав не поехал домой и обеденный перерыв провел на опушке, глядя, как ветер разгоняет тучи. Стаповилось все теплее, погода палаживалась, и земля просыхала на глазах. Болеслав лежал в канавке, жмурил глаза и предавался лени, которую гнал прочь, пока бывал поглощен с головой повседневными делами. Расслабленность была ему настолько чужда, что казалась какой-то обособленной, несовместимой с его естеством, субстанцией, которая разливалась по его жилам. Словно вспрынули чудодейственный эликсир, который до основания преобразил все его существо.

Полдень был уже жаркий, стрекотали сверчки, и пахло июньским кукулем, богородичной травой. Опи розовели в канавке. Болеслав бездумно копался в траве и цветах, чувствовал, как влажный песок забивается под ногти, и вдруг припомнилась строка: земля еси и в землю отидаши. Бася уже отошла в землю.

Тяжело было думать обо всем этом, горе оказалось непосильным. И как настоящую беду ощущал он свои силы, здоровье, могущество своих рук, свою походку, остававшуюся уверенной и энергичной даже тогда, когда он метался из угла в угол, не зная, что делать с собой, со своей жизнью и со своим несчастьем.

В конце концов, растянувшись вот так на солнцепеке, среди благоуханий, Болеслав забылся нездоровым сном, каким спят на земле и траве люди, привыкшие всю жизнь почивать в постели. Когда проснулся, рабочие уже принялись за дело без него. Продвигаясь шеренгой по молодняку, защищая кору на некоторых деревьях, младший лесничий с соседнего участка шагал следом и проставлял цифры красным карандашом и кистью, обмакнутой в смолу.

Птицы пели как оглашенные. Листья были сочные и зеленые.

Умиротворенность природы была в какой-то мере облегчением и для него. С минуту он еще посидел в канавке и не задумывался, идет ли работа, как полагается. Забыл даже о своих тревогах. Только об одном подумалось: будь

он жепат, не проспал бы вот так в капаве обеденного часа. И это к лучшему, ибо он мог тут остаться и присмотрит за всем, как положено.

Хотя дни были длинные, уже почти стемнело, когда Болеслав вернулся домой. Отпустил рабочих, потом беседовал с младшим лесничим, очень милым человеком, потом пришел лесник и рассказывал об ущербе, причиненном недавно мужиками из соседней деревни, километрах в двадцати пяти они подпилили прекрасную старую лиственницу, но повалить не успели — она простояла день, лесник сам видел, но, когда пришел со своими людьми, ветер уже свалил ее, и погибло много молодняка. Младший лесничий Кремпский был взбешен. Болеслав, которому некуда было спешить, отвез его домой — тот жил довольно далеко.

Вернувшись, он застал только Катажицу. Она сказала, что Стась отправился на прогулку, а Оля куда-то убежала. Болеслав молча съел разогретый обед и вышел на крыльцо. Прежде его раздражала игра Стася на рояле, а теперь точно так же бесила тишина. Ему захотелось снова почувствовать, как нелепые сплющие мелодии рвут первы в клочья. Вспомнил гармонику Михала и пошел на задний двор. Янек задавал лошадям корм, наверху горел свет. С минуту поколебавшись, Болеслав поднялся по лестнице и, не постучав, отворил дверь. Стал у порога никем не замеченный. Дочь его восседала в тепле на кровати, откинувшись на пышно взбитые подушки Мальвины. Возле кровати сидел Михал и рассказывал какую-то мудрепую сказку о глупых людях. Кроме них, в комнате никого не было. Увидев отца, Оля спрыгнула на пол и побежала к нему.

— Папочка, папочка, какие сказки мне Михал рассказывает.

Болеслав попеловал дочку. Михал встал, выпрямился. Он был высок ростом, великолепно сложен, черты лица грубоватые, но приятные. Волосы белые-белые и светлые усики, глаза маленькие, пронзительной голубизны. Болеслав улыбнулся ей, Михал смотрел на него очень приветливо. Это был явно хороший человек.

— Продолжайте, — сказал Болеслав удивительно мягко. — Михал доскажет тебе сказку, а потом марш домой. Пора спать!

Повернулся и вышел. Тяжело спустился по лестнице и побрел в сторону, хотел уйти в лес, чтобы его не видели и чтобы самому никого не видеть. Он не умел рассказывать сказки, не умел даже разговаривать с Олей, никогда не знал, что надо ей сказать. А ведь она — все, что у него осталось на этом свете. Стась прав, девочка очень заброшена. Но что поделаешь? Он так занят.

Сегодня был день открытий: в столь знакомом окружении, в собственном, столь заурядном характере обнаруживались новые черты. Это не огорчало, в нем как бы просыпалась иная жизнь, и это возбуждало любопытство. Расслабленность, овладевшая им в полдень, придала какую-то особую, незнакомую еще окраску остальной части дня и всему вечеру. Казалось, он преодолел действие опасного наркотика. Сегодня он впервые видел Михала и убедился, что он парень красивый, приятный и может нравиться. И впервые защемило сердце от мысли о заброшенности Оли, одинокой девочки, которая ходит за сказками в комнатушку лесного сторожа.

Оставив позади копиошни и сосны, он также словно впервые увидел березняк, где лежала жена. На вечернем фоне эти стволы, озаренные последними отблесками дня, белели, словно жемчуг на бархате. Стволы эти, белые, гладкие, точеные, походили теперь на женские руки, множество сплетенных рук, воздетых с мольбой, восторгом, а порой опущенных в знак покорности и смирения. Букеты рук соединялись вверху ладонями, сплетались пальцами, а иные торчали одиноко, безнадежно. Сгустки влажного, теплого воздуха заполняли промежутки между березами, и все это вместе производило впечатление какого-то святилища чувственности. Руки эти образовывали подобие светящейся колоннады. Никогда еще лес не казался ему таким, этот лес тревожных перешептываний, холодных ветров, зимних почек, когда звезды такие огромные, лес осенних дней, когда листва золотым дождем осыпает могилу или свисает желтыми взлохмаченными потоками. В этот июньский вечер не было в березняке ни смерти, ни смятения, но жизнь, которой дышал лес, сделалась до того могучей и призывной, что у Болеслава внезапно дух захватило. Воздух застрял в горле, и сердце сжалось. Он стоял и смотрел, а по лесу то и дело пробегала трепетная дрожь, руки изгибались, меняли положение, потом принимали прежнее, а темень, в которую впивались эти белые

руки, всякий раз нежно шелестела. Словно золотая точка, пропившая эти тени, вдруг сверкнула первая трель за-поздавшего соловья. И все еще неподвижно стоявший Болеслав словно ощущал в горле осколок льда. Лед таял, становился сладким и соленым, наполнял чем-то теплым глаза.

### VIII

Ни в тот вечер, ни в последующие несколько вечеров братья не встретились за ужином. Только во время пасхальных проглатываемого обеда обменивались двумя-тремя малозначащими словами. Впрочем, у Болеслава постепенно вошло в привычку проводить обеденное время там, где его заставала работа: на вырубке, посадке, корчевании. Это развязывало руки Станиславу, и он делал все, что ему заблагорассудится. Часто теперь по вечерам выезжал на прогулку, сам правил, прихватывал Олю, а Мальвина дожидалась где-нибудь в условленном месте, и они катались втроем. Во время поездок почти не разговаривали. Какую-то часть пути держались песчаной дороги, кружили по лесу — молча возвращались домой. А если была с ними Оля, та болтала за всех. Стась не задумывался над тем, что делает, Малина ездила и все.

Между тем молчание девушки крайне его удручало. Казалось, за ним кроется какой-то подвох или тайна, которую он, разумеется, не узнает. Часто, сидя с ней рядом в бричке Болеслава или стоя возле нее в лесу, он разглядывал ее спокойный, задумчивый профиль. Столько в нем было спокойствия и безмятежности, что одно это благотворно действовало на нервы Стася. А сердце его нуждалось в покое: нервы окончательно развивтились, по ночам донимали галлюцинации, мучило несварение желудка. Но сердце было ровно, когда он смотрел на низкий лоб Малины, когда целовал этот лоб.

Стась решил ни о чем не расспрашивать девушку и ничего ей не говорить. Не рассказывать о своей жизни, не выпытывать, как она жила прежде. Даже ничего не хотел знать о Михале. Только, возвращаясь домой, долго не мог уснуть, видел ее черты и думал, что теперь наступает черед Михала. Но тот перестал как будто ухаживать, ибо последнее время Стась совсем его не видел.

Собственно, весь депь был ожиданием. С утра он долго лежал и прислушивался к голосам дома. Катахина на кухне стучала ножом, крошила лук к обеду, петух горланил монотонно, невыносимо, запертый в плетеном курятнике; тело Стася медленно пробуждалось к жизни в холодном поту после ночных кошмаров. Одеревенелые руки и ноги была мелкая дрожь, поnim пробегали мурашки, и наконец ему хватало сил открыть глаза. Замечал тогда занавешенное листвой окно и свет — ясный или тусклый в зависимости от погоды. Если шел дождь, с удовольствием прислушивался к его шепоту, прежде чем открыть глаза. Но сияние солнца, хорошая погода радовали спльшнее. Тогда он ощущал в себе больше жизни и поднимался гораньше. Завтракал, садился за рояль, но все время ждал, не слыхать ли стремительных шагов, хрипловатого голоса. У Малины в течение дня часто находились дела на кухне, и она забегала к Катахине. Как-то он подумал, что при такой ленивой, праздной, пустой жизни ему, собственно, следовало бы прислушиваться не к голосу Малины, не к девичьей поступи. Но те иные, крадущиеся, тихие шаги словно бы отдалились. Он уже сам начинал верить, что доктора ошиблись, и хотя чувствовал себя не очень крепким, не замечал каких-либо неблагоприятных перемен. Болезнь не давала о себе знать. Стась почти ничего не ел, но и не испытывал никаких новых недомоганий. Тяжело бывало лишь по утрам, впрочем, он толком не знал, бремя ли это любви или недуга. Настолько чужды ему были подобного рода ощущения — и смерть и любовь переживал впервые.

Лишь около пяти часов Стась улавливал прилив сил. Безмерно радовался жизни, хоть и казалось, будто все ему мешает, отгораживает его от действительности. В сумерки Мальвина кончала работу и пахла землей и мыльной пеной. Они встречались в заранее условленном месте, и их окружало какое-то многозначительное молчание. Лишь то, что, идя неровным шагом, они порой касались друг друга руками, доставляло им удовольствие, а для Стася становилось содержанием всей жизни. Действительно, переживаемое им наполняло все его существо, перехлестывало через край и составляло единственную радость, о которой он даже не мог говорить, ибо Мальвина не поняла бы его.

Постепенно он осозпал, что женщина, которая ходила с ним по темным лесным тропинкам, вся соткана из лжи. Неизвестно, что было причиной и что следствием. Стасю хватало и того, что те немногие слова, которые Мальвина говорила ему, были пасквиль лживы. До такой степени лживы, что Стась не верил даже тому, чему по самой сути своей следовало быть правдой. С первой минуты Малина отрицала все, о чем бы Стась ее ни спрашивал. Ибо вскоре, вопреки своему принципу, он перестал воздерживаться от вопросов. Напротив, чем очевиднее становилась их бесполезность, тем больше это раздражало его и побуждало забрасывать Мальвину вопросами. Она на все отвечала: нет. Никого не любила, никогда у нее не было любовника, Михал к ней не ходит, она не знакома ни с одним парнем в округе. До того договаривалась, что начинала утверждать, будто бы до Стася не знала ни одного мужчины, что было уже явной ложью. Стась не верил этому, но в конце концов от всех ее «нет» у него голова шла кругом, и он переставал доверять самому себе и своему опыту. Мисс Симонс была благородна и откровенна, во всем ему признавалась, говорила, что не он первый, кого она любила, что у нее было три любовника, что воровала у отца деньги, была плохой дочерью. Тогда это его совершенно не затрагивало, и ее признания не создавали никакой особой атмосферы. Когда оглядывался на себя — того периода, его раздражало, бесило собственное бездумье. Один день, проведенный в лесной глухи, казался ему более насыщенным, чем вся тогдашняя жизнь. Он перестал отвечать на письма с заграничными марками. Они тоже стали приходить реже, Болеслав, к своему крайнему неудовольствию, обнаруживал их не в каждой почте.

Лживые ответы окружали Мальвину, словно рой москвары. Их особый привкус возбуждал и пьянил Стася. Каждый день, прежде чем увидеть девушку, Стась решал, что сегодня будет молчать, и всякий раз задавал ей одни и те же вопросы, которые вскоре превратились в стереотипные жалобные причитания, неизменные, как ритуал. И кончалось это всегда одним и тем же вопросом: «Я тебе надоел, правда?» — в ответ на который раздавалось неизменное, обязательное, полное внутренней убежденности: «Нет!»

Лишь на один вопрос Мальвина отвечала твердым и искренним: «Да». Стась рискнул задать его через несколько дней после первой встречи. Он спросил: «Любишь ме-

ния?» Стась отдавал себе отчет в том, что это «да» было такое же лживое, как все предыдущие «нет», однако оно доставляло ему такое удовольствие, что он повторял свой вопрос не только ежедневно, но даже по нескольку раз падио. О чём еще он мог говорить с молчавшей Малиной, когда они лежали среди зарослей в сыром подлеске на стеблях трав и прошлогодних опавших листьях? Когда он крепко обхватывал худыми руками теплое, пышное тело девушки и прикасался к ней, словно бы ощущая при этом белизну ее кожи. Он повторял свой вопрос без всякого толку и на разные лады, а она отвечала всегда одинаково, никаким не меняя интонации. Ответы эти походили на запоздалую каплю дождя, сбегающую по листьям. Раз только ответила иначе.

Это было жарким вечером. Стась не торопился уходить из дома, и допоздна оттягивал встречу на опушке леса, откуда виднелась хата Марийки. В тот день он чувствовал особенную слабость, и даже пальцы устали от бренчания на рояле. Утром пришла почта, и он получил письмо от мисс Симонс, которая снова собиралась в Давос. С иронической усмешкой он представил себе пейзаж, и дома, и воздух, благоухающий аптекой, словно изготовленный по рецепту. Стась, петоропливо выступивая каждую ноту, наигрывал мелодию все того же танго, которое танцевал в минувшей жизни. Жара утомляла его, но, быть может, даже не из-за усталости он медлил с выходом на опушку. Возможность встречи с Мальвиной ощущалась им как паившее блаженство, как единственное счастье, которое дало ему в жизни, и с беспредельной пробудившейся в нем любовью думал о лесе, где они встретятся. Земля, на которую они лягут, казалась близким и добрым домашним существом, приученным зверем, к которому можно прижаться. Малина, и лес, и земля — все это было как бы здоровье, которого уже не вернешь, но которое пока еще его баловало. Стась очень медленно спустился с террасы, оглянулся на дом, уже темный и покосившийся, а потом прислушался к дремотной тишине леса.

«Видимо, сегодня будет луна», — подумал он.

Но луны не было; лавируя среди деревьев, Стась пересекал потоки то теплого, то холодного воздуха, пробирался между ними, как пловец между разветвле-

ниями подводных течений. Малину пашел полусонную, растянувшуюся под кривой сосной, которая пологом своих нижних ветвей часто оберегала их ласки от чужих глаз. Разбудил Мальвину и с жаром повторил свои неизменные вопросы и услышал неизменные ответы. Не хотел только спрашивать: любит ли его. Колебался, целовал ее, обнимал. И все-таки, уже перед самым расставанием, нарушил обет, спросил: «Любишь меня?» На что услышал сдавленный шепот: «А вы меня любите?»

Воспоминание о неожиданном вопросе убаюкало его быстрее, чем обычно, разбудило раньше и одарило на следующий день большими силами.

Силы эти оказались обманчивы. К вечеру он еле волочил ноги, но в свете этого тихого ночных вопроса Мальвина показалась ему совсем другой девушкой, и все, что прежде явно лгала, обрело правдоподобие. Он обнаружил, что Мальвина способна к чувствам, которых он и не предполагал у нее. Им начали овладевать странные надежды. Стась подумал, что если бы все это приобрело форму иенитового, стихийного чувства, то жизнь его закончилась бы наверху блаженства и как в сказке. Это был бы восхитительный финал. Говоря так, он уже не верил в возможность подобного конца. Перед самим собой притворялся, будто готовит финал, а между тем чувствовал, что едва начинает упорно, с трудом наполнять хоть каким-нибудь содержанием свою жизнь. Он лишь начинал жить. Все его мысли оплетались вокруг сильного, белого тела, которое он каждый день держал в объятиях. Ему казалось, что он тянет из этого тела соки, необходимые для преодоления слабости.

Стась полагал, что теперь Мальвина иначе будет отвечать на его вопросы, что ответит ему чем-то вроде чувства. Быть может, сама начнет спрашивать. Впрочем, нет, была как и раньше — покорной, спокойной, застенчивой, лживой. По-прежнему говорила, что не знала мужчин до Стася, что Михал к ней не ходит. И па вопрос: любит ли, отвечала Стасю «да».

Ему хотелось все изменить, расшевелить эту ледяную глыбу, добраться до самой сути, но все его попытки оказывались тщетными.

Лишь как-то через несколько дней после того вечера, когда Стась, которому наскучила покорность девушки, естественно, ее за плечи и потребовал ответа, желая выяс-

пить все до копца, она сказала ему печто такое, от чего виды на будущее стали еще мрачнее.

— Ну, а Михала,— спросил он.— Михала любишь?

— Да, тоже люблю,— ответила она тихоцько.

## IX

В тот день они встретились раньше обычного, так как было воскресенье и Мальвина освободилась после обеда. С самого утра стояла невыносимая жара, и Стась очень устал. Он добрался пешком до самого озерка, мертвого, черно-белого зеркала, он тут назначил встречу своей возлюбленной. По крайней мере, было далеко от дома, и никто не мог их увидеть. В прибрежных травах и камышах Мальвина сказала ему, что Михала тоже любит. Сперва он не придал значения ее словам и, оставив девушку, которой еще хотелось искупаться, побрел домой. Деревья цепенели и изнемогали в кипятке застоявшегося воздуха. С самого утра синело небо без единого облачка, бледные тени реденькой сеткой стлались между деревьями. Голубой контур далекого леса сделался удивительно сухим и четким. Стапислав, обливаясь потом от жары и слабости, еле передвигал ноги и поминутно останавливался, чтобы глотнуть воздуха. Но ничто не освежало. Дышать становилось мучительно. До лесничества добрался уже поздновато. Брат куда-то ушел. В доме было прохладно и приятно, Оля спала на отцовской постели, мухи журчали и ползали по ее лицу. В комнате Стася окно прикрывала прохладная зелень листьев, он сел за рояль и заглядился в окно на листья и деревья вдали. Начал повторять про себя слова Мальвины.

Нынешний день вообще был неудачный. За столом они снова поссорились с братом. Болеслав хлопнул дверью и не закончил обеда. Сбежал куда-то, а теперь вот это признание Малины. Что-то бесконечно глупое в этих словах, фальшиво, прямолинейность, неумение выражать свои чувства. И впервые Стась почувствовал себя униженным страстиами, овладевшими им до такой степени.

Положил руки на клавиши и машинально глядел на них. Потом заметил, что пальцы у него основательно похудели, что они высохли до крайности. По одному этому он мог бы догадаться, что конец уже близок, по чурался

подобных мыслей. Напротив, стал думать о долгой жизни.

Потом играл любимую гавайскую песенку, которая звучала в ту пору, когда он танцевал с мисс Симонс. Отменно ему запомнились эти минуты. Но сейчас произошло то, что редко с ним случалось и лишь когда он слушал какую-нибудь экзотическую мелодию. С глубоким содроганием представил себе он великое множество вещей, которых наверняка никогда не увидит.

Простор изумрудных, студеных океанов, синие моря, пальмы и острова, земли холодные и раскаленные. Женщины в портах и деревнях, люди, люди, люди. Все, кого он мог бы знать, любить, интересовать. Нет их здесь, он их никогда не увидит. Когда такие моменты наступали в Швейцарии, он побыстрее отгонял картины, которые подсовывала ему фантазия. «Этого у меня гораздо больше будет в жизни», — говорил он себе. Но теперь знал, что в жизни у него уже ничего не будет, кроме тела совсем простой женщины, и половодье неведомых, не поддающихся выражению миров захлестывало его, он захлебывался и дышал с трудом. Столько этого вмещала одна незатейливая гавайская мелодия, которую он извлекал из старого рояля несложными движениями пальцев. То обстоятельство, что он не только никогда не познает этих миров, но даже не сможет выразить дрожи, которую они в него вселяют, заставляло страдать еще острее. Он ощущал необъятность природы, весь ужас ее неумолимых законов, ее величие и равнодушие. Равнодушие к его пичужкой смерти потрясло Станислава. Он похолодел, несмотря на жару, волосы встали дыбом, смерть медленно подтачивает его, а природа ничего, решительно ничего не делает, чтобы помешать этому — наблюдает за его агонией равнодушная. Милиарды людей умерли такими же молодыми, как он. Станислав встал и с треском захлопнул крышку рояля. И вдруг испугался. В дверях стояла Оля, разбуженная его музыкой, бледная. Стояла как завороженная.

Стась взял ее за руку, уложил в постель и торопливо, усталым голосом принял рассказывать ей снова о лунном затмении в горах, о багровом, мертвом диске, повисшем над холодными вершинами. Об ощущении пространства, какое дает тень земли, падающая на луну. О звездах, которые кажутся тогда более крупными и

глубже вкрапленными в черное морозное небо. О собаках, которые воют в горах от страха. О вечном шуме равнодушных ко всему потоков и водопадов, которые неторопливо размывают огромные скалы и сносят их в долины. Перед лицом этой великой игры стихий жизнь человеческая ничего не значит.

Оля ни слова не понимала и боялась этого рассказа. Стась взвинченно повторял: «Я знаю, что ты ничего не понимаешь, но не беда». Потом оставил ее в постели, а сам засновал по комнате, то и дело пытаясь на рояль. Девочка сидела перепуганная, сжимая в кулаке ручонку облезлой куклы.

— Это ничего, что ты не понимаешь, не беда,— повторял Стась.— Но мне некому рассказывать, а когда я буду лежать в земле, ты вспомнишь, подрастешь, вспомнишь. Только не вспоминай к почки, не заспешь.

Помолчав, он продолжал:

— А может, и заснешь. Люди спят, хотя их окружают такие страшные вещи — деревья, облака, животные. Но это ничего не значит, люди спят...

Он долго еще рассуждал в том же духе. Вдруг стемнело. Лишь спустя минуту они сообразили, что это не только вечер, но и гроза. Станислав все время ощущал во рту странный, но приятный привкус и, вытирая платком язык, заметил, что слюна розовая. Из носа тоже вытекло несколько капель крови. «Это к грозе», — подумал он.

Наконец болтовня утомила его. Он взглянул на Олю, та сидела в постели и тихонько плакала, испуганно прижимая куклу к груди. Стась остановился как вкопанный. Расчувствовался и заключил девочку в объятья. И все кончилось слезами.

Они плакали взапуски, и вместе со слезами отдалялся страх. Снова они нащупывали ногами землю, не видели страшных вещей, только стены, которые их защищали от приближающейся грозы.

Донеслись первые раскаты грома, и одновременно шаги Болеслава послышались на темной веранде, в уже совершенно темном доме.

— Закрыть окна! — крикнул он таким властным, реальным голосом, что они оба вздрогнули. Бросились к окнам и быстро их закрыли. Уже лило.

Болеслав зажег лампу, отнес ее в столовую и спокойно стал чесреди комнаты. В закрытые окна внезапно удариł

поток дождя, и капли воды расплющились на стекле. Вспышки молний и удары грома следовали друг за другом с четкими интервалами. Бледно-голубое небо разверзлось, обнаруживая фантастические очертания перекрученных деревьев.

— Ступай в свою комнату, — вдруг сказал Болеслав Оле грозным голосом, и его суровое лицо мелькнуло в двойном свете лампы и молнии.

Стася озадачил его топ, но, прежде чем он попял, в чем дело, Болеслав объяснил ему все.

— Хорошенькие же номера ты тут откалываешь, — сказал он.

Стася невыразимо потрясло начало этой сцены. Не потому, что боялся слов, которые собирался сказать ему Болеслав, но его пугала бессмыслица того, что он мог от брата услышать. Все это будет пустая и никчемная болтовня, которая не только не отразится на его внутреннем состоянии, но ни на йоту не изменит его отношения к Малине, последней соломинке, за которую он хватался, перед тем как погрузится в пучину. Он только поморщился в ответ.

— А что? — сказал он, немного повременив и видя, что Болеслав все еще стоит столбом.

Болеслав медленно повернулся к брату перекошенное лицо. Стась увидел, что угол рта справа у него непрерывно подергивается книзу, как бы преодолевая сопротивление. В конце концов ему пришлось схватиться за щеку, чтобы прекратить этот тик. Верхние зубы поблескивали у него между губ.

— А что я вытворяю? — снова дерзко спросил Стась; он чувствовал, что ноги подлямываются, и пришлося присесть на минуту. Ему становилось все хуже и хотелось, чтобы разговор закончился быстрее.

— Эта девка... — Болеслав бросил наконец гортанное слово.

— Не будь таким моралистом, ты ведь знаешь, что я не давал обета целомудрия.

— Да, но в моем доме.

Станислав рассмеялся от души:

— Великолепно сказано. Что же ты думаешь? Неужели вообще полагаешь, что я, молодой человек, могу жить монахом... что за странные представления?

— Ну, а я?

— Меня не касается, как ты выходишь из положения. Желай, что хочешь. Я достаточно напостился в санаториях.

Болеслав как бы смягчился, встрепенулся, отнял руку от лица, сделал несколько шагов по комнате. Подошел к Стасю.

— Это может тебе повредить.

— О, не беспокойся. Не будь таким заботливым. Мне уже ничто не повредит.

Казалось, сцена должна была закончиться мирно. Стась улыбался почти дружелюбно, но еще не был в состоянии подняться со стула. Он иронически взглянул на брата.

— Ты следил за нами? — спросил он.

Уж очень пехород был этот иронический взгляд. Болеслав снова пасунился и вдруг затопал ногами посреди комнаты в припадке бессильной ярости. Топоту этому ответил мощный удар грома, обрушившийся на лес где-то поблизости; затем полотнища дождя бешено окатили окна дома. Стась беспомощно и удивленно смотрел на безумца. Тот, снова изменившись в лице, стал истергать бессвязные слова:

— Таскаетесь, вечно таскаетесь... всюду... на каждом шагу... сегодня... всегда... везде... сегодня у пруда...

Стась понемногу овладевал собой и все остree испытывал досаду. Он давно бы покинул эту комнату и улизнул к себе, если бы не странная тяжесть в ногах, которую он так явственно ощущал и которая поднималась все выше. Он смотрел на брата почти с жалостью, совершенно не понимая его состояния.

— Напрасно ты следишь за нами. Какое тебе дело?

— То есть как? — взбеленился Болеслав. — Разве может меня не трогать твое поведение. То говоришь, что умираешь... а потом носишься за девками днем и ночью, каждый день...

— Еще раз, причем решительно, заявляю, что это не твое дело.

— Ладно, но я знаю больше, чем ты. Я знаю то, о чем ты даже не догадываешься.

Стася знобило, он постепенно весь кочепел, и лихорадочно работающая мысль не приносила ему никакого облегчения. Наконец цепою нечеловеческих усилий он поднялся и сделал несколько шагов к дверям своей комнаты.

Однако ноги отказывались повиноваться. Он остановился, опершись на столик у дверей.

— Погоди, погоди, я должен рассказать тебе поподробнее, что видел сегодня вечером перед самой грозой. Я видел, как она целовалась с Михалом — более, более чем целовалась.

Глаза Стася словно застилали туманом, и он уже не слышал ежеминутных ударов грома — все слилось в ушах в сплошной грохот. Хоть это и стоило огромного усилия воли, он говорил вполне спокойно, перемежая слова длительными паузами. Ему самому собственный голос показался чужим.

— Мне... нет дела... до того... как... ведет... себя... эта девушки. Она мне не... жена... — пусть целует Михала.

Болеслав всплеснул руками у самого лица и зашатался. Это было последнее, что Стася увидел, так как лампа, задетая рукой старшего брата, со звоном свалилась на пол и погасла.

— Слава богу, что не загорелось, — просто сказал Стася.

Но тут молния озарила Болеслава, прислонившегося к стене. При свете ее брат показался мертвенно-бледным. Стася заметил, что он держит в руке какой-то черный предмет. Внезапно вернулись силы, одним прыжком он очутился возле Болеслава, стиснул ему руки и прижал к стене. Всеми пальцами левой руки он сжал запястье правой руки брата.

— Брось, — прохрипел Стася, — брось сейчас же. Сам будешь жалеть.

С грохотом упал револьвер. Очередная молния осветила братьев. Но оба уже расслабили мускулы, утихомиривались. Болеслав, судорожно вцепившись в плечи брата, зашептал ему на ухо:

— Я видел, понимаешь: я видел, что в доме никого нет, Янек в лесу, старуха в костеле, а Михал ждал весь день, пока она вернется от тебя, она пришла, было уже темно, зажгли лампу, я видел... видел...

— Неправда! — сказал Стася, вдруг попадая в тон брату. — Неправда, снизу ничего не видно.

Шепот Болеслава стал едва слышим.

— Я взобрался, — сказал он, — взобрался на сосну, знаешь, там сосны против окон... я видел все как на ладони, они не погасили лампы...

Стась оттолкнул брата.

— Шпион. Видно, что это тебя трогает за живое.

И снова направился к своей двери, однако поги опять налились свинцом, он присел, пашупав в темноте стул, тяжесть поднималась все выше по телу, к сердцу, легким, затруднила дыхание. Стась кашлянул, и ему вдруг сделалось легко, даже слишком легко, ибо почудилось, что голова совершенно пуста. Прижал к губам платок, который оказался слабой преградой, кровь пробивалась сквозь пальцы.

## X

Несколько дней Стась пролежал без движения и в полузабытьи в комнате с завешенными окнами. Ухаживали за ним Катажина и Оля, регулярно смевая друг друга, давали глотать лед и мерили температуру. Между тем в душе Болеслава что-то застопорилось, и он даже не мог глядеть в сторону комнаты брата. Более того, ему трудно было говорить, и в ответ на вопросы дочки он издавал сквозь стиснутые зубы какие-то звуки, напоминавшие рычание угрюмого зверя. В первый день он даже не пошел присматривать за работами, сидел пеподвижно за столиком в своей комнате. Дневной свет отражался в его светлых зрачках, суженных, как у кошки; он ничего не видел, ничего не соображал; дважды присылали за ним из лесу, но он не пошел. Лишь во второй половине дня поднялся с легкого табурета и, не прикоснувшись к оставленному на столе обеду, отправился на корчевку. Молодому лесничему, который так давно его дожидался, он шепотом сказал: «Брат мой очень болен». Ничем больше не оправдывался, впрочем, и не мог бы сказать ничего другого, возможно, в данную минуту он был действительно вполне искренен. Болеслав ощущал всю серьезность этого педуга, как повод для бессильной ярости, которая вгопяла его в такую прострацию, что он не в состоянии был шагу ступить. Он сел на выкорчеванный пень, велел лесничему поступать, как тот сочтет нужным, и, опустив голову, стал дожидаться вечера. Унизительные поступки, совершенные им в последние дни, обескураживали его; он всегда скорее считал себя натурой благородной, и теперь ему трудно было примириться с тем, что это он сидел на сосне против освещенного окошка лесниковой комнаты и во все глаза глядел, как Малина целовалась с Михалом.

Ему уже давно хотелось влезть на эту сосну, по она казалась ему недоступной, а в тот вечер, перед грозой, он пашупал какие-то сучья, по которым в мгновение ока взобрался до уровня окна. Ярость обуревала его уже тогда, когда он выследил Малину и Стася, крутивших любовь у озера: он крался по жаре, следовал за ними на небольшом расстоянии, а они, слишком уверенные в себе, разомлевшие, вовсе не оглядывались. Закрывая глаза, Болеслав и сейчас отчетливо видел сквозь сеть деревьев медленно движущиеся фигуры; видел желтый платок Мальвина и сутулого, тощего, высокого Станислава. Они шли, лавируя среди серых стволов, проринаясь сквозь кусты и низкую поросль, а он — за ними, движимый чувством, какого никогда еще не испытывал. Сжимал револьвер в кармане, и тогда именно впервые мелькнула мысль, что мог бы к нему прибегнуть. «Впрочем, — спохватился он, — чтобы убить Стася, как выясняется, револьвер не нужен».

Чувства, овладевшие им на сосне, были отнюдь не простыми. Он лицезрел не только любовницу брата, но и Михала, который последнее время внушил ему смутные и странные подозрения. Разумеется, подозрений этих он не мог и не желал уточнять, но смотрел на него не без любопытства. Но в чувства эти он не вникал. Они были подобны порыву бури, которая внезапно обхватила сосну, на которой он сидел, и пригнула к земле.

Болеслав теперь крепко-накрепко закрыл глаза и приговаривал: «Ужасно, ужасно!» Однако слова эти относились главным образом к тем невероятным возможностям, которые он в себе обнаружил.

Ему предстояли еще три дня душевного оцепенения. Он действительно настолько не владел собой, что был не в состоянии произнести и слова обычным голосом. Повседневные распоряжения Катажине проталкивал сквозь зубы лишь ценой величайших усилий и столь же трудно давались разговоры с лесничим или рабочими. Губы у него были постоянно сжаты, а часто — и веки.

На третий день повстречалась ему в лесу Мальвина. Она собирала грибы, которые прорастали после грозы в огромном изобилии и прятались под кустами. Болеслав пробирался сквозь заросли, полностью отрешенный от окружающего мира, и вдруг увидел передник Малины, белый, в лиловую полоску. Остановился, резко откинувшись назад, но Малина улыбнулась ему ласково и ободря-

юще. Она выпрямилась среди веток орешника и постояла минуту, осанистая, стройная. Потом показала ему корзину, полную словно бы фарфоровых грибов, и молвила:

— Поглядите, сколько их нынче.

Болеслав никогда не сталкивался с ней вот так, близко, лицом к лицу. Он, не отрываясь, смотрел на ее прямой нос, красиво очерченный разлет бровей, низкий лоб. И думал, что она в самом деле очень хороша. Он молча глядел на нее, пока та не зарумянилась и не перевела взгляд на корзинку с грибами.

— Будут сегодня па ужин,— сказала.— Оле нравятся.

Болеслав отчетливо видел, как па белом лбу Мальвина простила и разлилась краска; он все еще изучал ее, но она отвернулась и даже на грибы не глядела. Смутилась простая деревенская девушка. Не вынесла пристального, холодного, хищного взгляда.

Болеслав вдруг произнес по-прежнему с патухой и сдавленным голосом:

— Пан Стапислав очень болен.

— Да, слыхала,— ответила она.— Катахина сказывала. Не знаю, надо ли мне прийти за ним ухаживать? — добавила неуверенно.

Болеслав помолчал немножко, а потом снова выдавил:

— Вам нельзя встречаться.

Румянец сделался совсем багровым, она повернулась боком, возбужденно размахивая корзинкой.

— Только Михал остался,— бросил еще Болеслав.

Мальвина фыркнула от гнева и взглянула на него искоса.

— А вам-то что, пан Болеслав?

Внезапно отскочила и бросилась наутек, но Болеславу не хотелось ее упускать. Он кинулся вдогонку, вдруг ощутив упругость своих ног. Крикнул только:

— Стой, стой! — но она удирала, стремительно выбежала на полянку, с одинокой старой сосной посредине, припала к дереву и, тяжело дыша, засмеялась, насколько позволяла ей одышка.

— Ой, какая я дура! — приговаривала она.

Болеслав, такой же выдохшийся, остановился рядом с ней. Он чувствовал, что должен броситься на нее, придавить, заткнуть ей рот. Но ярость его постепенно улеглась, дыхание их сделалось ровнее, он протянул руку и прикоснулся к ней. В лесу было тепло и тихо. Потом

наклонился, поцеловал ее и, круто повернувшись, спокойным, размеренным шагом направился к месту работ. Вся злость прошла, он разговаривал непринужденно, дал несколько ценных указаний молодому лесничему, сел на пенек и, тихонько насвистывая, закурил сигарету; глаз не закрывал, только слегка щурился.

В тот же вечер зашел к Стасиславу. Это было на третий день после кровотечения, Стась уже немножко окреп, но двигался с трудом, и на его мертвепном, белом лице ничто не отразилось, когда он увидел брата. Было уже темно, и горели свечи. Болеслав потоптался возле рояля, Стась не обращал на него внимания. Болеславу хотелось уйти, но его удерживало одухотворенное и застывшее выражение лица, возвышавшегося на подушках. Крепко сжатые губы Стася свидетельствовали о страдании: лишь это придавало лицу видимость жизни. То, что брат страдал, что не был безучастен, привлекало Болеслава, вызвав у него какое-то ощущение общности. Они хранили молчание, и казалось, обоим одинаково трудно произнести хоть какое-нибудь слово.

Наконец Стась открыл глаза и окинул брата померкшим взглядом, в котором, однако, было столько проницательности, что Болеслав отвернулся. Был это взгляд, порвавший в ужас,— тусклый, патужный, последний. Само разъятие смертельно отяжелевших век могло лишить дара речи. Но Болеслав, напротив, почувствовал себя способным говорить, подумал, что это последняя подходящая минута для разговора с братом, как с еще равным себе существом, когда можно его спросить о самом важном.

Решившись, Болеслав быстро подошел к постели и положил руку на его выступающую ключицу. Между тем Стасислав отвел взгляд, опустил веки, замкнулся в себе, снова был безжизненным и безучастным.

— Ты знаешь что-нибудь о Басе?.. Нечто такое, чего я не знаю? — торопливо спросил Болеслав и постоял немногого с опущенной рукой.

Стась с явным удивлением поднял глаза.

— О Басе? — прошептал он через силу.

— О Басе... ты ведь говорил... что у тебя нет жены, что жена...

— Откуда я могу знать что-то о Басе... — произнес более твердым голосом Стась. — Я сказал... потому что так говорится... ведь я действительно не женат.

Болеслав постоял еще некоторое время возле брата в ожидании, но больше ничего не услышал. Наклонился пониже — по Стась молчал, наконец приоткрыл глаза и сказал тихонько:

— Ступай себе.

Пригорюнившись Болеслав попятился к дверям. И лишь тогда заметил, что под роялем, прижавшись к стене, заслоненная лирой у педалей, сидит Оля. Ее белокурые волосы торчали во все стороны, как стручки, и словно светились в тени, падающей от инструмента. Болеслав окликнул ее и тут же ужаснулся оттого, что девочка была здесь. Но Оля со своей неизменной кукольной спокойно вылезла из-под рояля. Болеслав взял ее за руку, и они вышли через сени на веранду. Вечер был теплый, влажный, благоуханный. Теперь только Болеслав почувствовал, что в комнате Стася было очень душно и царил тошнотворный запах болезни.

Они спустились с освещенной террасы в ночь, в сумрак, окутывающий внезапно и со всех сторон. В темноте они ощущали листву и деревья, мимо которых проходили, и казалось им также, что овеивает их легкое радостное дыхание земли, лежащей под черным покровом, но бодрствующей. Проделав знакомый путь, они впервые за много дней остановились у могилы матери. Оля заметила, что все очень изменилось с того времени, когда они сюда в последний раз наведывались. Она не боялась, не скучала, напротив, находила удовольствие в том, что следом за отцом повторяла слова молитвы. Мир стал шире после приезда дяди Станислава, который рассказывал столько интересного. Мир стал прекрасней с тех пор, как Михал приходил играть на гармонике.

И когда они вот так стояли среди берез, неподалеку раздалось это пиликанье. Оля почувствовала, как рука отца дрогнула, потом он преклонил колени, и она услышала, что он горько плачет.

## XI

Вопрос брата о Басе нарушил душевное равновесие Станислава, хоть он и не хотел, и даже не мог показать этого внешне. Лежал неподвижно, в полу забытьи, тихий и спокойный. Только в ушах немолчно гудело, словно рой

ичел обосновался у него в изголовье. Окна ему завесили платками, поскольку не было ни ставень, ни запавесок: и он лежал в полуумраке, без света, осознавая лишь свое страданье. Все течение внутренней жизни впешапно застопорилось, прервались связи с внешним миром, и, вдруг предоставленный самому себе, Стась почувствовал себя измочаленным опметком, неспособным даже умереть. Все, что он учинял доселе, было никчемной шумихой с единственной целью заглушить страданья, забыться. Все было, как этот рояль, на котором он так громко бренчал.

А на четвертый день его болезни и рояль отобрали; его владелица умерла, наследникам хотелось поскорее распродать ее имущество, и они, не уведомив, не предупредив, подкатили на подводе к дому лесничего погожим утром. Тщетно Болеслав растолковывал им, ссылаясь на болезнь брата,— и слушать не пожелали. Пришлось волей-неволей отдать инструмент. Вместе с грузчиками в комнату больного ворвался свет: приподняли платки на окнах, и Стась с удивлением увидел, что на дворе теплынь и благодать. Потом пришел Япек, все вместе обступили рояль, поднатужились и общими усилиями подняли его. Медленно переместили к дверям, наклонили черпый ящик, и он исчез из поля зрения Стася, как огромный черный гроб... «Мой будет поменьше»,— подумал он. И пожалел о рояле, ибо как раз собирался сегодня или завтра подняться на минутку с постели и еще раз сыграть гавайскую песенку, чтобы снова почувствовать потрясающую безбрежность всего того, чего уже никогда не увидит. Музенируя, легче было вызвать в своем воображении это море вещей, заглянуть в сладостную бездну неизвестного. Это малость его пьянило, ударяло в голову. Но теперь, глядя в открытую дверь, за которой исчез рояль, Стась почувствовал прилив иных начал. Бесправное расставанье со всем, что не было страхом и страданием.

Прежде он не знал чрезмерно обременительных физических страданий, теперь началась настоящая мука. Исхудавшее тело ломило от неподвижности, а пошевельнуться боялся, так как любое движение стоило огромных усилий и вызывало боль, расходившуюся от поясницы к конечностям. Не мог ничего есть. Каталина приносила ему бульон или молоко, через день вертела мороженое, и уже с самого утра донимал его шум машинки, с пронзи-

тельным скрежетом дробившей лед. Звук этот, доносившийся из сепей, был также источником радости, хоть и изматывал его. Скрежет мороженицы оставался единственным доступным ему отзвуком той необъятной, огромной жизни, которая теперь уже протекала без него. Он лежал, как бревно, выброшенное течением на берег реки. Был одной из высохших веток, которые всегда замечал на елях и соснах. Теперь он ждал, когда его окончательно сломит.

Станислав еще несколько раз вставал с постели и, правда, с большим трудом, но двигался самостоятельно. Спустился с крыльца и, перейдя дорогу, немногого погулял по лесу. На следующее утро посвистывал и напевал во время бритья, как в день приезда в лесничество, и Болеслав даже улыбнулся, прислушиваясь к его свисту.

«А вдруг ему опять полегчает?» — подумал.

Но все эти дни, пока Стась подымался, его не оставляло нелепое ощущение какой-то пропажи. Оно не покидало его ни на минуту. Как человека, который много лет носил на пальце кольцо, а потом забыл его на умывальнике; ощущение пехватки чего-то весьма привычного и обыденного преследовало его, и он не мог думать ни о чем другом. Это не была утрата рояля, Стась проверял себя. Это был урон посеребренный, потеря того, что до сих пор увязывало все здимое и ощутимое в какое-то органическое целое.

А теперь окружающее рассыпалось, словно зерна чечевицы или стеклянные жемчужины, которые были когда-то на шее у мисс Симонс. Еще утром Стась заметил зеленый свет в окнах своей комнаты, который, однако, загорался не изнутри, исходил не от него самого, и, просыпаясь, он досадливо отвергал его; ничего это мерцание не объясняло ему, не воплощало существа того, о чем думал раньше с такой радостью, словно о каком-то открытии. Сосны и липы, пенастье и вёдро распадались, обособлялись, существовали отдельно, вкрашенные несколько несуразно в поток его переживаний и мыслей.

Это причиняло невыносимые страдания. Ни слабость, ни упадок сил, ни отвращение к пище не вызывали таких мучений, как утрата целого мира, который у него на глазах застывал и превращался в хаос.

Он посвистывал и напевал, как и в первые дни по приезде, но тогда этот свист был также попыткой взбала-

мутить действительность, чтобы из глубин ее всплыл новый облик мира. А теперь, когда все крутилось в такт напеваемой песенке, он знал, что уже ничто не всплынет, что все рухнуло и близок конец,— и это заставляло страдать похлеще, чем от больных легких и кишечника.

Когда Стась переставал напевать, воцарялась тишина, насыщенная страхом. Тотчас, едва он умолкал, дом, лес, веранда превращались в кулисы, исполненные многозначительного молчания. Шорох сосновых иголок был единственным сопровождением его мук и страхов. Стась укладывался в постель, и все, что уязвляло душу, любая мысль об одиночестве, конце, страхе, приходила поодиночке, жалила беспорядочно, куда попало — в голову, сердце,— и исчезала бесследно, уступая место иной.

Это было ужасно, и он напрягал все силы, чтобы еще двигаться, напевать, сидеть вместе со всеми па веранде. Когда он как-то заглянул на кухню, от запаха разваренной картошки вдруг сделалось дурно, шум огня не задержал его. Он ретировался к себе, но преодолевал эти страхи и слабость. Болеслав иногда замечал улыбку на его губах (это действительно была улыбка, не гримаса), но улыбка внезапно исчезла, и выражение, ее сменявшее, напоминало поле после грандиозного побоища. Болеслав с тревогой следил за этими метаморфозами.

Стась обедал вместе со всеми, но по лицу его Болеслав видел, что ему уже не полегчает. Его пугала мертвенностю глубоко запавших глаз, которые не оживали, даже когда смеялись. Обедали па веранде. Стась сидел спиной к свету, и Болеслав украдкой рассматривал его лицо, прячущееся в тени. Оно уходило в зыбкую тень, переставало олицетворять человека, брат умирал. Видимо, это чувствовали все, даже маленькая Оля сидела тихонько, широко открытыми ясными глазами посматривая на дядю. Но Стась не замечал этих взглядов, оглядывался через плечо на лес, и тогда в его голубых глазах загорались огоньки, словно размытые отражения в запыленном зеркале. Смеялся и опять начинал рассказывать — неизвестно зачем — о мисс Симонс. Сегодня от нее пришло письмо, она снова в Давосе и сообщает ему обо всем, что творится в санатории. Он вспоминал, какое платье было когда-то на мисс Симонс, и подробно описывал его Оле, которая слушала, уставившись на дядю и с трудом глотая черствый хлеб; Стась ничего не ел, только пил молоко. Платье

было зеленое, отороченное зеленым мехом. А к нему — короткий жакетик из зеленого бархата, весь обшитый золотой тесьмой. Точно озеро в лесу.

Стась сказал: точно озеро в лесу — и глянул невзначай на Болеслава, но тот отвернулся. Случайное сравнение напомнило братьям о неприятных сценах и заодно обнаружило полнейшую бессмыслицу этих сцен в теперешней ситуации.

Когда Оля вышла из-за стола, Стась попросил Болеслава, чтобы его похоронили в березняке подле Баси. Возможно, это случится не так уж скоро, сегодня он чувствует себя превосходно. Ему не хотелось бы возвращаться к этому разговору, ибо тут есть нечто от позы и священодействия весьма неприятное, попросту кривлянье. Однако он предпочитал бы не трястись потом двадцать с лишним километров, чего ради? Пусть уж его прямо здесь и закопают.

— Не будет ли тебе особенно докучать столь близкое мое соседство?

Болеслав все время молчал, по, услыхав последний вопрос, почувствовал, что действительно назревают большие неприятности. Новая могила рядом с могилой Баси будет тягостным бременем. Его бы устраивало спровадить Стася куда-нибудь подальше и потом не думать об этом, и чтобы обе могилы не маячили постоянно перед глазами. Но вдруг спохватился, что со временем он запросто переведется на другую должность, куда-нибудь под Суходнев или, например, в Шидловец. Тогда могилы оставит здесь, и уже трудно будет ему к ним вернуться, выберется раз в год, раз в два года. Да, Стася можно похоронить в роще.

А Стась между тем сидел против него за столом и курил сигарету, сизый и прозрачный дымок вырывался, словно дыхание, и таял в прогретом воздухе, па фоне деревьев, стоявших по ту сторону дороги. Немного помолчали, потом Стась усмехнулся:

— Ну, и после моей смерти не отказывайся от Малины.

На это Болеслав стукнул кулаком по столу, однако сдержался, сурово нахмурился, отвернулся и стал запихивать бороду в рот, но та, недавно подстриженная Янеком, оказалась коротковата, и прикусить ее не удалось. Это искренне позабавило Стася, но он уже ничего не сказал.

Чувствовал, как полуденное солнце греет его спину и ощущение тепла приносит ему отраду.

В тот день и на следующий он еще виделся с Малиной. А несколько дней спустя слег окончательно.

Мальвина никогда не заглядывала в комнату больного: не полагалось. С той минуты, как он слег, всякая связь между ними оборвалась. Но Стася это не очень-то угнетало. Реальное присутствие Мальвины ему не требовалось. Он отчетливо представлял ее себе и целыми днями о ней раздумывал. Собственно, даже не раздумывал, а сопоставлял все, что помнил, со всем, что получил от этой девушки, сильной, покорной и преданной. Он понимал, что Мальвина лгала, что Михал действительно был ее парнем и она выйдет за него замуж и проживет с ним до глубокой старости, покорная и выносливая. Думал о старости Малины, жестокой и обыденной, ничем уже не примечательной. И, думая о ее судьбе, повторял про себя: «Вот опа, жизнь-то».

Стась уже лежал пластом, теряя последние силы, среди гомона воображаемого улья, на свету, вливавшемся в незавешенные окна, и видел, что стоит прекрасная июльская погода. Теперь его малость забросили, Болеслав по целым дням пропадал из дома, Катажина наведывалась изредка, а Оля предпочитала играть во дворе, наскучила ей улыбка больного дяди. Однажды в конце июля — Стась до того ослабел, что уже только под вечер захотелось глянуть в окно,— он чуть приподнялся, промстил повыше подушки, а стоило это больших трудов, и, устроившись полулежа, загляделся на позолоченные солнцем рамы. Листья ближайших деревьев свисали над самыми окнами, а дальше была вечно одна и та же картина: стволы, сумрак, лес. В доме и во дворе не было ни души, все куда-то разбрелись, и царило полнейшее затишье. Но эта летняя тишина, полная благословенного тепла, не угнетала. Стась задумался, неведомо о чем, кости не болели, и он блаженствовал, сливаясь в дремотном безмолвии с летним вечером.

Вдруг послышались чьи-то шаги, кто-то пересек дорогу и подошел к крыльцу. Шаги приблизились и отдалились, он узнал эту поступь, топот, которого столько раз дождался в течение лета: это была Малина. Сердце застучало, как молот, в висках загудело, а лоб, спина и поясница покрылись холодным потом. Но она не вошла, повернула

обратно, и он слышал, как шаги, обогнув дом, отдалились, заглохли в лесу.

И тогда из леса донесся высокий голос. Мальвина пела. Впервые он слышал ее пение, но сразу узнал, что это она. Девушка тянула высокие, однообразные ноты. Она пела чище и красивей, чем поют у нас в деревнях, не теряя при этом искренности исполнения. Мелодия то устремлялась вниз, то взмывала вверх и обрывалась на самой высокой ноте, настойчиво повторяемая несколько раз, глубоко и насыщенно. Эхо отзывалось в лесу после первой же фразы, вплелось в песню и вторило ей приглушенной многоголосицей звуков.

Первозданная страстность этой песни потрясла большого. Вынужденное напряжение, с каким он слушал, взбодрило его. Он знал, что Мальвина поет для него и что песня заменяет все слова, которые она собиралась ему вы сказать. Это она хотела сказать на самом деле, а совсем не то, что однозначно твердилось в ответ на его бессмысленные вопросы.

А первое слово —  
То взгляд мой суровый,  
Что я не хочу тебя знать.

Слова эти Стась уловил в гуще высоких и протяжных звуков. Приоткрыл рот, он слушал и одновременно многое видел. Вспомнилось детство и мать, широкая серебристая река, по которой они плыли. А потом все стало как во сне. Он целовал мать, хотя знал, что она давно умерла, и с нежностью ощущал в своей руке ее пальцы. Пухлые и ласковые. Серебро реки смешалось со светом, падавшим из окон, против которых стояла его постель, смешалось с голосом незримой любовницы.

Мальвина дважды пропела первую строфу, внезапно оборвала песню и потом долго молчала. Стась решил, что она больше петь не будет. Откинувшись на подушках чуть вбок, он увидел весь мир, который уплывал от него по диагонали, мимо его глаз, наискось, сотканный из серости, прохлады и зелени. Тщетно искал глаза матери; всюду мерещились — как и в тот день, когда впервые шел в школу, — глаза под веками, похожими на лепестки, прищуренные глаза. Нет, у матери не было таких, это были затуманенные глаза Мальвины.

Но вдруг порвалась цепь сонных видений, снова зазвучала безыскусная песня: Мальвина подошла поближе,

была совсем рядом, и звуки, и слова ее песни, почти осеняе-  
заемые, облеченные в плоть, входили в комнату Стася,  
только не хватало сил к ним притронуться.

Второе же слово —  
То сени под кровом,  
По ним я должен ступать.

Мальвина повторяла каждую строфу дважды, без  
остановки, легко меняя тональность, по в конце возвра-  
щалась все к той же упрямой, высокой ноте.

Лучи заходящего солнца пронизывали лес, просачива-  
ясь меж стволами сосен и под сводами крон, окрашивая  
их розовой дымкой. Стась увидел себя в сказочно запо-  
ведной чащобе и знал, что ему предстоит суд. Это чуточку  
смахивало на восстание, в котором участвовал его дед,  
чуточку на сон. Розоватая дымка окутала лес и преврати-  
лась в птиц, а птицы пели голосом Малины: «То сени под  
кровом, то сени под кровом», — и Стась видел, как лес  
превращается в высокие, до небес, деревянные констру-  
кции, по которым он скакет с ловкостью белки, а Малина  
идет маленькая-маленькая, как в горах, у самого под-  
ножья деревянного собора, и пельзя им соединиться.

Вдруг из-за леса показалась серебристая река, Стась  
почувствовал удивительное облегчение, плавно заскользил  
по стальной поверхности, стеклянная гладь воды все вы-  
скальзывала из-под рук.

Малина умолкла. И он снова обрел свою комнату, тя-  
гостную пустоту осиротевшего угла, где стоял рояль, и  
солоноватый привкус во рту, сладковатый, муторный за-  
пах, бьющий в нос. И подумал: «Снова будет кровотече-  
ние».

Услыхал шаги у самых дверей, услыхал, как кто-то  
прислонился к липке, росшей под окном. Почувствовал,  
что не вынесет этого пения, такого зычного, такого явст-  
венного, под самым своим окном. Обе руки прижал к серд-  
цу, которое бешено колотилось, и позвал:

— Малина... Малина...

Но это был не зов, а только шепот жалкий и лихора-  
дочный. Не уловила его Мальвина и могла подумать, что  
пан Станислав вовсе ее пения не слышит. Но, видимо,  
все-таки полагала, что он ей *внемлет*, ибо голос свой обуз-  
дала и не пела уже так громко. Однако песня ее из-за

этого еще сильнее хватала за душу, словно исполненная грусти колыбельная.

При первых звуках песни Стась снова заскользил по реке, делающей крутой поворот. Но, по мере того как она пела, река сужалась, берега падвигались друг на друга, хотели его задушить. Он с трудом хватал воздух.

А третье слово —  
Седых камней оковы,  
Где буду я спать.

Но, прежде чем Мальвина успела дважды пропеть последнюю строфи, все спокойней и глубже дыша, сонмище призраков рассеялось. Дольше всего ощущалось присутствие матери, но и это миновало. Он очнулся полулежа на подушках, с привкусом крови на губах, с глазами уставившимися на багряные просветы между соснами. Стась был глубоко потрясен словами: «Седых камней оковы, где буду я спать». И впервые всем своим естеством ощутил в себе смерть. Казалось, все, чем он был, точно обволокло его красноватым, влажным туманом и медленно уплывало, и оставалась страшная пустота.

...камней оковы,  
Где буду я спать.

Собрав остатки сил, он окликнул эту уходящую жизнь, и на сей раз она вернулась. Знал, что пенадолго, малость успокоился, слышал, как шаги удалились. И не увидел Малипы. А потом, повторяя слова о камнях, по-детски пригорюнился, представив себе,— словно это ему действительно предстояло,— как долгие годы будет спать в темных покоях, под серыми камнями. И расплакался, точно дитя, и подушка намокла от слез.

А когда Болеслав возвратился вечером, впервые сказал ему, что не хочет умирать так рано. Болеслав испугался, но потом привык. Стась повторял эти слова до самого конца.

## XII

Лишь после смерти брата Болеслав увидел, насколько эта кончина развязала ему руки. Вместе с уходом Стася явилось безмятежное спокойствие, приятие всего, с чем бы ни сталкивался, прежде незнакомое. Все внутренние

запреты и препоны рухнули, а главное, было ему очень легко, работалось в охотку, и без особых трудностей он написал прошептие пачальству о переводе на другой участок; впрочем, Болеслав знал, что его ценят и не переведут с понижением. Стояли погожие, осенние дни, солнце упрямо светило, листья были желтые, и от одного этого цвета делалось теплее и спокойнее. Вода в озерке, летом черная, теперь изменила оттенок, и оно обрело особую привлекательность и даже очарование с тех пор, как отражало посветлевшие деревья, которые умирали, чтобы возродиться вновь. Теперь Болеслав встречался с Мальвицкой у озерца. И свидания эти, лишенные всякой страсти, однако, с каждым днем все больше привязывали Болеслава к жизни. Но это не значит, что его повергла в отчаяние новость, которую там же у озера поведала ему Мальвица — что Михал намерен в октябре жениться на ней. Он сказал: «Это хорошо», — и прикусил копчик бороды, которая снова отросла. Сказал:

— Это хорошо, я все равно переезжаю на новое место, и мне его обещали с первого ноября или с рождества, а вы до этого обвенчаетесь, и я оставлю тебя уже замужней. Пойдешь к Михалу или тут поселитесь?

Но она не знала, где будет жить, во всяком случае, в лесу, это наверняка. А здесь или там, ей безразлично. А потом добавила: жаль, что уедете, грустно будет без вас, без Оли. Только пан Станислав здесь останется.

Стася действительно похоронили в березовой роще, как он просил, хотя это было сопряжено с немалыми трудностями. На сей раз такой предлог, как распутница, начисто отпадал, он умер погожим, летним днем, после дождя, когда ехать в местечко было удобнее, чем когда-либо. Но Болеслав упрямо настоял на своем. Впрочем, на погребении никого из чужих, кроме ксендза, не было, и все свершилось невероятно быстро и просто. Янек и Михал взяли гроб, протащили несколько шагов на носилках, ксендз помахал кропилом, освятил землю у могилы Баси, потом останки закопали, быстренько засыпали, а на следующее утро с помощью Олеки и Эдека поставили березовую ограду и березовый крест, массивный и приземистый. Никто не всплакнул на похоронах, даже Оля, и все сразу же вернулись к своим делам, ведь рабочее лето было в разгаре и всюду требовался глаз да глаз.. У ксендза убирали хлеб, Болеслав приступал к осенней вырубке.

Малина стирала исподнее матери, Янека и Михала. Только Оле пачем было заняться, и она сидела одна-одинешенька в пустой комнате, из которой вынесли дядю и которую еще не прибрали. Теперь комнатка казалась даже просторной, когда в ней не было ни рояля, ни тела дяди, и Оле стало чуточку не по себе. Чтобы приободриться, она принялась беседовать со своей куклой. За этим и застал ее вернувшийся домой Болеслав; девочка заупрямилась, что будет жить одна в дядиной комнате, и на другой день Болеслав велел вымыть пол щелоком, побелить стены и на том месте, где стоял рояль, поставить кроватку дочери. Новая, довольно напряженная, хоть и тихая жизнь затеплилась в комнате умершего.

Болеслав не пошел домой после того как услыхал на берегу от Малины, что в октябре они с Михалом сыграют свадьбу. Хотел воспользоваться чудесным вечером и пройтись по лесу, кое-куда заглянуть, а на самом деле хотел прислушаться к тому, как мысли и образы проносятся через его сознание, оставляя легкий дурманящий аромат. Он и впрямь был словно в чаду. Любовь пришла внезапно и не падолго изменила его внутреннее бытие, подарила радостное спокойствие. А ведь начало было ужасным.

Стась умер днем, и тотчас начались хлопоты с одеванием и обмыванием покойника, пришли старые бабы, мать Янека, Катахина, Марийка. Хотя на дворе было светло, зажгли свечи, завесили окна платками. Одежду Стася составляли две узковатые пижамы, голубая и зеленая, натянутые одна на другую, и его трудно было раздеть. Но бабы все же стащили их с покойника и положили его нагого на одеяло. Болеслав все время стоял в углу комнаты и мрачно наблюдал за этими приготовлениями. Он вынашивал в себе слова, которые хотел кому-то сказать, да некому было; впрочем, не знал даже, что надо сказать, что ему хочется сказать; мысли его, пожалуй, невозможно было выразить словами. Во всяком случае, все, что мелькало в его мозгу, было дурно, бессердечно, горько и исполнено протеста. Ему «этого» вполне хватало. Хоть и не знал, что под словом «это» кроется.

Стась лежал на кровати, и его необычайная худоба возбуждала жалость: узкую грудь плотно обтягивала белая, шершавая от пупырышек кожа, руки лежали недвижимо и праздно, ладони были заметно темнее тела, бугорки сосков почти совсем почернели и сморщились от ве-

черного холода и холода смерти. Лицо прикрывал платок, другим платком, красной бабьей косынкой, была подвязана отвалившаяся челюсть. Но стоило ли интересоваться выражением лица, если само тело, осиротевшее, худое, безжизненное и сухое, как вязанка хвороста, было более чем выразительно. Бабы принесли таз с теплой водой и неторопливо истово окунули в нее губку, бормоча молитвы, а потом принялись обтирать жалкую грудь покойного.

Тогда вошла Малина. Болеслав весь напрягся и подался вперед. Малина остановилась в погах кровати, точно желая долго-долго созерцать бесстыдную наготу распространенного перед ней тела. Но бабы ей не дали.

— Припеси еще воды и уксуса,— сказала мать.

Малина не двигалась. Она алчно глядела на Стася, потом подошла и сняла платок с его лица, тихонько вскрикнула, скорее взмыла, но еле слышно. Потом отступила немножко и потянулась к губке, намереваясь вместе с бабами обмывать тело.

Болеслав сделал еще один шаг и произнес отчетливо:

— Ты что тут делаешь, Малина?

Малина обернулась и взглянула на него. Глаза у нее были тусклые, без зрачков, почти белые; она взглянула, как слепая, ее крупные, резкие черты были отмечены печатью почти такой же мертвенности, как и сведенное судорогой лицо Стася. Она взглянула и отвернулась, груди ее, обтянутые узким лифом, чуть задрожали. Крепкая и сильная, с застывшим, безучастным лицом.

— Уходи отсюда.

Малина не ответила. Подняла ведро с водой и переставила поближе к изголовью. Замочила в нем длинное белое полотенце.

— Немедленно уходи отсюда,— повторил Болеслав, понизив голос и как бы с отчаяньем.

Но Малина, по-прежнему безучастная, растянула полотенце, которое словно струилось у нее между пальцами, потом выжала, свернула, расправила и прикрыла им грудь Стася. Черные соски скрылись под белизной полотна.

— Вон! — рявкнул вдруг Болеслав и, рванув Малину за плечо, с силой толкнул к дверям.

Девушка остановилась, еще раз на него взглянула. Потом открыла дверь, вышла и притворила ее за собой. Все это время казалось, что страшное слово «вон» колыхается и разбухает в комнате. Болеслав тотчас опомнился

и выбежал вслед за Мальвины. Удивился, что на дворе уже так стемнело. Не знал, в какую сторону она попала, и несколько раз тихонько позвал:

— Мальвина, Мальвица.— Сбежал с крыльца, быстро зашагал в сторону черного двора и едва не наткнулся на девушки. Опа стояла, все такая же безразличная, под деревом, прислонясь к белому стволу.

Болеслав торопливо заговорил:

— Извини меня, я сам не знаю, что делаю, я, видишь ли, не хотел, Стась умер; пап Станислав умер, это мой последний брат, мы похороним его рядом с моей женой...

Мальвина стояла могучая, рослая, отрешенная, и слова не проронила... Чувствовалось, что даже не смотрела па него. Болеслав прикоснулся к ней, ощущил тепло разгоряченной плоти. Вспомнил о хладном теле брата, недвижимо лежавшем на одеяле. Стиснул ей плечи и, порывисто припав лицом к ее высокой, горячей груди, зарыдал. Ощутил ее руки на затылке, она прижала его к себе. Но Болеслав плакал недолго, вдруг встрепенулся и поспешил домой, где бабы уже кончали обмывать Стася и обряжали его в праздничный, «европейский» костюм.

Шагая теперь вдоль опушки леса, он даже не вспоминал эту сцену, хотя она долго во всех подробностях маячила перед глазами и часто возвращалась к нему, певзная, павязчивая, думал только о новой службе, осенней вырубке, переезде, о том, что Олей следует как-то заняться. Сосны не менялись по-осеннему, лишь больше кружило тончайших, красноватых чешуек с шелушащихся вверху стволов. Болеслав встретил Эдека и Олека: Марийкины коровы заблудились в лесу и забрели во двор лесничества, надо было их отогнать назад. Рыжие коровы пробирались сквозь заросли желтевшего орешника, ребята шли за ними, покрикивая и пощелкивая веревочным кнутиком. Некоторое время он шагал следом, потом остановился на своем излюбленном месте. В тумане и осеннем золоте тонула хата Марийки, совсем незаметно было, что это всего лишь поляна. Казалось, он выбрался на широкий и привольный простор полей. Болеслав смотрел, как по песчаной тропе шествовали грузные коровы, позади — ребята. Их контуры таяли, близился ранний осенний вечер. Покой, покой, почти счастье.

Стр. 220. ...вспоминая войну, лагерь в Мурманске, последние бои со Францией, поход на Киев и отступление... — С конца 1918 г. в польскую армию, действующую во Франции, влившись паходившиеся до этого времени в России польские соединения под командованием Ю. Галлера; эвакуация их происходила в основном через Мурманск; во время развязанной буржуазным польским правительством войны против Советского государства польские войска в мае 1920 г. захватили Киев, после чего Красная Армия перешла в контрнаступление и, освободив город, прорвала фронт противника и в августе вела бои на подступах к Варшаве.

Стр. 236. «Наука и гипотеза» (1908) — труд из области философии науки французского математика, естествоиспытателя и философа Арии Пуанкаре (1854—1912).

«Творческая эволюция» (1907) — сочинение французского философа-идеалиста, представителя интуитивизма Арии Бергсона (1859—1941).

Стр. 243. ...точно архангел рядом с Товием на картине Джорджоне... — Товий — герой одного из библейских сказаний. Во времена далекого путешествия его охранял ангел Рафаил, принявший человеческий облик. Этот библейский сюжет запечатлен в картине известного венецианского художника Джорджоне да Кастельфранко (1476(1477)—1510), одного из основоположников искусства Высокого Возрождения.

#### БЕРЕЗНИК

Комментируя творческую историю этого произведения и свое отношение к фильму, снятому по его мотивам известным польским кинорежиссером Анджеем Вайдой, Ивашкевич пишет: «Некогда я был поражен трагедией, которую переживают люди, заболевшие туберкулезом. Много чувств и мыслей вызвал у меня этот недуг. Полный сострадания к больным, я переселился в местность, где жили чахоточные, и вошел с ними в каждодневное общение. Среди них были люди очень близкие мне, даже родственники, как, например, братья Шимановские (один из них, Кароль Шимановский, был замечательным композитором), мой испытанный друг поэт Либерт и другие. Весь мир тогда выглядел для меня понапому — даже привычный польский пейзаж (например: «Сгибаясь то в одну, то в другую сторону, березы образовывали подобие костельного нефа...»). Я был неотделим от произведения, которое любил — в период работы — как самого себя...»

Повесть была написана в Закопаном в 1932 г. и опубликована в сборнике «Барышни из Волчиков».